ВИКТОР БОЧКОВ

ОСТРОВСКИЙ В БЕРЕНДЕЕВКЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Костромское село Щелыково значит для отечественной драматургии не меньше, чем псковское Михайловское для русской поэзии. Здесь, в заповедной стороне, Александр Николаевич Островский работал над половиной из полусотни своих пьес, среди которых «Бесприданница», «Последняя жертва», «Воспитанница», «Дикарка», «Светит да не греет»… В сказочной тиши этих мест явилось и неожиданное чудо – «Снегурочка».

В основу книги костромского историка, краеведа последней четверти XX века Виктора Бочкова, наделенного даром увлекательного рассказчика и глубокого исследователя, положены малоизвестные архивные источники, а также расспросы потомков великого драматурга.

- Виктор Бочков
  -
  - Полна чудес Ярилина поляна
  - Снегуркина беседка
  - Флигель над обрывом
  - Мельница Тарасиха
  - Щелыковское поле
  - Заречная слободка Берендеевка
  - Ярилина долина
  - У въезда в Щелыково
  - На бойком месте
  - По берегам Сендеги
  - Покровские разгадки
  - Катерина ли она?
  - Костромской Кулибин
  - «Атаман Фадеич» – быль, пьеса, либретто
  - Прощание с Высоковом
  - Памятник

Виктор Бочков
Островский в Берендеевке

© Бочков В. Н., 2013
© ООО «ООО ТД Алгоритм», 2013

* * *

Полна чудес Ярилина поляна

Есть еще, уцелели у нас, в России, вопреки всем вихрям времени, и вправду сказочные места. И одно из самых загадочных – костромское Щелыково за Волгой, в окружении темных, «сусанинских» лесов, прохладных вод петляющих речушек, крутых оврагов, косогоров, цветущих ковров разнотравья. А знаменито оно тем, что тут, в своей усадьбе, жил с семьей – женой Марьей Васильевной и четырьмя детьми – великий русский драматург Александр Николаевич Островский. Здесь написал он половину своих пьес, в том числе «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданницу», «Дикарку», и чудо из чудес – «Снегурочку».

Однажды, в первый свой приезд, когда имение еще принадлежало отцу и мачехе А. Н. Островского, плененный дивной природой писатель услышал от местного мужика про лесную долину со Святым ключиком, о некогда явленной там иконе и старичке-монахе, срубившем на поляне часовенку-келью, в которой жил отшельником…

Тогда, в мае 1848 года, двадцатипятилетний Островский оставит взволнованную запись, еще не предполагая, во что потом выльется эта встреча с зачарованной стороной: «Первое и самое сильное чувство, которое производят на меня эти красоты природы, для меня болезненно, мне тяжело, мне надобно облегчить свою грудь, надобно поделиться с кем-нибудь этими неотступными впечатлениями, которые лезут в душу со всех сторон». Какое счастье – и творческое, и житейское – испытает он в Щелыкове спустя годы, какую трепетную силу наберет вдруг проснувшийся в нем поэтический дар!

Смотри, дитя,
какое сочетанье
Цветов и трав,
какие переливы
Цветной игры
и запахов приятных!
Один цветок,
который ни возьми,
Души твоей
дремоту пробуждая,
Зажжет в тебе
одно из новых чувств…—

так прощается в Ярилиной долине Весна-красна с дочерью Снегурочкой, стараясь зажечь в ней любовь, в весенней сказке Островского…

От речки Куекши – через мостик, а там по узкой тропинке сквозь малинник, переступая мозолистые корни старых сосен, – всего рукой подать. Но кажется, зашел ты далеко в глубь леса, охваченный вдруг настороженной тишиной поляны, замкнувшейся и затененной большими, крепкими ветвями елей. И сердце замерло от неясного ожидания – чего, кого?.. Но – чу! – журчит лесной ручей. Где, по преданию, растаяла Снегурочка, ее Ярило-солнце растопило, теперь бьет ключик, серебрясь на солнце и играя песчаным дном. И будто, говорят, там бьется ее сердце… Цветы цветут, и бабочки порхают, и стрекозы. Не иначе забрел ты не в лесную глушь, а в рай земной. «Полна чудес могучая природа!»

Влечет, притягивает Щелыково однажды сюда попавшего. Среди лесных зарослей из лета в лето тут можно было встретить любимца публики актера Юрия Яковлева в неизменном для своего отдыха простом тренировочном костюме или незабываемую балерину Екатерину Максимову с заполненной доверху корзиной белых грибов… Ну а уж актеры Малого театра облюбовали здешний край со времен Островского. На стенах его дома, давно музея, в резных деревянных рамках, сделанных руками самого драматурга и схожих с наличниками местных окон, – портреты его друзей-актеров: от Прова Садовского до обожаемого им провинциального артиста Загорского, ставшего прототипом Несчастливцева в «Лесе».

Очарованные красой заповедного уголка, мы стремимся сюда душой снова и снова. И потому на дне Голубого ключика Ярилиной поляны так много посверкивающих мелких монеток – примет непременной будущей встречи с мечтой, сказкой, в которую так или иначе, а хочется верить всю жизнь.

Татьяна Маршкова

Снегуркина беседка

Костромское сельцо Щелыково – усадьба с богатой историей. И, как во всякой старинной усадьбе, бытует здесь множество преданий. А больше всего они связаны с местом, на котором стоит «Снегуркина беседка».

Если пройти от мемориального дома Александра Николаевича Островского по «горбатому» мостику, спуститься еловой аллеей в парк, свернуть по тропинке на запад, перейти еще один мостик, то справа между деревьями на высоком холме можно разглядеть силуэт легкого паркового сооружения. Это двухэтажная деревянная беседка, восьмигранная, с тесовой крышей в виде остроконечного гриба. Внизу стоит стол на одной ножке, у перил – скамейки. Наверх ведет крутая лесенка, ни стола, ни скамеек там нет.

Беседка поставлена как бы на мысу, образованном двумя оврагами. Можно догадаться, что прежде из нее открывался красочный вид далеко окрест, теперь же обзор закрыт разросшимися внизу разлапистыми соснами. От беседки можно пройти по тропке через парк и к прогулочной аллее. Тогда на пути будут заметны справа большие ямы. Откуда они тут?

Внучка великого драматурга Мария Михайловна Шателен, родившаяся в 1895 году, в своих неизданных воспоминаниях пишет: «В верхней, северной части парка, среди деревьев между оврагами было много поросших малинником ям от когда-то стоявших там строений. У «Снегуркиной беседки», вокруг нее и по дороге к ней было много остатков старинного кирпича, следы кирпичной кладки оснований круглых больших колонн, слева под слоем земли и уже обросшие старыми толстыми соснами были остатки подвалов с бутовой кладкой. По устным преданиям, пока еще никакими архивными документами не подтвержденным, там во время оно стоял основной барский дом громадного кутузовского имения, поодаль, где остались ямы, – избы дворовых крестьян. Потом дом сгорел, овраги разрушили площадку…»

Щелыково, в XVIII веке принадлежавшее знатному роду Кутузовых, действительно, было одной из богатейших костромских усадеб. Большой каменный барский дом, огромные службы из красного кирпича, оранжереи с тропическими растениями, пруды с экзотическими рыбами… Отставной гвардейский генерал Федор Михайлович Кутузов, проживший долгие годы в столице, при пышном дворе Екатерины II, умел показать себя и в провинции. К нему, богачу, двенадцать лет кряду избиравшемуся костромским предводителем дворянства,

съезжалась на празднества вся губернская знать.

Увы, не щадили Щелыкова и пожары. Самый первый и самый страшный – в 1770-е годы. После него господский дом на прежнем месте не восстанавливался.

Значит, предание, запомнившееся внучке драматурга, в основе своей достоверно. В таком случае возникает вопрос – что же увидел на месте сгоревшего кутузовского дома Александр Николаевич Островский, когда в мае 1848 года впервые приехал в Щелыково? Руины, сползающие в образовавшийся в конце XVIII века овраг? Или уже беседку?

Ответ на этот вопрос неожиданно дали сотрудники Всесоюзного объединения «Леспроект» в 1971–1972 годах. Чтобы разработать перспективный план лесопарковосстановительных работ в Щелыкове, им пришлось стать и археологами, а результаты своих изысканий они изложили в документе, написанном даже не слишком сухо. По их заключению, на перешейке между оврагами был «построен большой декоративный павильон. Произведенные обследования территории, анализ рельефа, обмеры сохранившихся ям от фундаментов и оснований круглых колонн позволяют сделать такое предположение. Характер кладки из большемерного кирпича на известковом растворе соответствует середине – концу XVIII века. Можно полагать, это были два квадратных в плане здания, соединенные галереей с двумя декоративными беседками в виде двух десятиколонных ротонд. Причем колонны ротонд, имеющие в основании 75 и 60 см, чередовались между собою».

В этом тоже нет ничего удивительного. После пожара рачительный Кутузов, не желая оставлять развалины и учитывая, что отсюда открывается красивый вид, возвел на месте сгоревшего дома внушительное парковое сооружение, использовав пригодный кирпич. Там хозяева и гости, гуляя по тогда же разбитому парку, отдыхали, укрывались от дождя. Павильон просуществовал где-то до 1820-х годов – во всяком случае, ко времени появления в усадьбе Островского его уже не было. Уцелели одни руины.

Но одно из строений на мысу между оврагами, стоящее там с кутузовских времен, Александр Николаевич все же застал. При разделе имения Кутузовых в 1813 году между наследниками, в описи построек значится каменная кладовая, доставшаяся младшей дочери генерала Прасковье. Но где находилась кладовая, когда была сломана – об этом в позднейших документах сведений нет.

У драматурга была сестра Надежда Николаевна, на 19 лет моложе, учительница и общественная деятельница. Совсем

ребенком она жила с родителями в Щелыкове, и детские впечатления глубоко врезались в ее память. Надежда Николаевна еще при жизни брата начала писать повести и рассказы для юношества, широко пользуясь воспоминаниями собственного щелыковского детства. Так, в 1901 году она опубликовала повесть «Жизнь прожить – не поле перейти». Из нее мы узнаем об играх младших Островских «у каменной кладовой, стоящей неподалеку от оврага. Кладовая имела очень оригинальный вид – круглой формы, с крутой высокой крышей, с крепкой железной дверью, небольшие окна, пробитые в толстых стенах, защищались железными ставнями». Отмечается и то, что кладовую построили Кутузовы.

Как долго простояла кладовая, мы пока не знаем. Зато известно главное – драматург сам видел ее, мог заинтересоваться старинной постройкой.

А вообще, занимали ли его щелыковские предания? Ведь мы знаем, что древнее прошлое окрестностей Щелыкова его волновало, что он собирал сборники исторических актов, изучал и комментировал их, опрашивал знакомых краеведов. Неужели же столь богатая событиями история его собственного любимого Щелыкова прошла мимо него?

Нет, не прошла. По рассказам потомков Островского складывается впечатление, что он хорошо знал прошлое Щелыкова и планировку кутузовской усадьбы, любил об этом рассказывать своим детям и друзьям. Более того, «щелыковская старина» отобразилась и в его творчестве. Вспомним хотя бы «Дикарку», которая писалась в 1879 году в Щелыкове и о которой Александр Николаевич говорил: «Я над «Дикаркой» работал все лето, а думал два года». Добавим – думал, гуляя по щелыковскому парку. Место первого действия комедии обозначено так: «Густой парк, в углу развалины каменной беседки, в глубине живописная местность за рекой». Здесь беседуют камердинер Таврило и старый слуга Сысой, сопровождающий гулявшую по парку барыню. Прислушаемся к их беседе:

Таврило *(осматривая местность)*. Ну и местоположение… я вам скажу!..

Сысой. Как находите?

Таврило. Что уж!.. Чего еще превосходнее!

Сысой. На редкость, истинно на редкость… которые ежели понимающие… Конечно, простой человек… так ему все равно. Это место по древности, от старых людей – Кокуй называется. Когда покойный барин, царство небесное, эту рощу под парк

оборотили, так и беседка тут была построена, и строгий был приказ от барина всем, чтоб это самое место «Миловида» прозывалось; а барыня, напротив того, желали, чтоб беспременно «Бельвю». Почитай что до ссоры у них доходило… Ну, а мужики, помилуйте! им не вобьешь в башку-то, разве с ними возможно! Они и теперь все Кокуй да Кокуй. Было времечко, да прошло: в те поры в этой беседке танцы были, ужины, без малого вся губерния съезжалась, по всем дорожкам цветные фонари горели; за рекой феверки пущали, а теперь заглохло все».

Тут даже трудно и усомниться, что речь идет о кутузовском сооружении. Нижний щелыковский ландшафтный парк или, как его именовал Островский, «Овражки», появился в конце XVIII века именно на месте рощи. В павильоне, воздвигнутом в парке на месте сгоревшего усадебного дома, Кутузов, владевший крепостным оркестром, устраивал танцы и ужины, на которые действительно съезжалась «вся губерния». Тогда и за рекой Куекшей, протекавшей рядом, внизу, пускались модные в то время фейерверки. Правда, Щелыково в старину называлось не «Кокуй», а «пустошь Шалыково» – Кокуй (Кокуйка) – селение невдали от него. Возникают сомнения и относительно «Миловиды» и «Бельвю», что, в сущности, одно и то же. Кутузов женился только в старости на своей крепостной Антонине Никитишне, и та даже в малом не осмеливалась противоречить ему да и по-французски едва ли говорила. Скорее, речь идет о следующем поколении владельцев Щелыкова: дочери Кутузова Варваре Федоровне, умершей в 1815 году, и ее супруге Егоре Александровиче Сипягине, галичском предводителе дворянства, изрядных оригиналах. А обо всем этом молодому любознательному Островскому мог в конце 1840-х годов рассказать кто-нибудь из старых дворовых, служивших и Кутузовым, и Сипягиным и доживавших в усадьбе при новых владельцах. Развалины же павильона Александр Николаевич видел сам в первые посещения Щелыкова.

Мостик в парке «Овражки»

Да, а когда впервые появилась нынешняя двухэтажная деревянная беседка? По-видимому, ее возникновением мы обязаны отцу драматурга Николаю Федоровичу, владевшему Щелыковым до своей смерти в 1853 году. Он убрал остатки кирпича, а на очищенной площадке воздвиг беседку, которую почему-то очень любил. Кстати, воздвиг в традиционных кутузовских формах – круглую, с остроконечной крышей.

И Александру Николаевичу отцовская беседка тоже нравилась – близко от дома, а место тихое, уединенное, тенистое, и работать удобно. Местный житель Иван Иванович Соболев мальчиком бегал в усадьбу, часто наблюдал драматурга. Позднее он написал в бесхитростных воспоминаниях: «Усадьба была обнесена кругом палисадом, а также и парком сосновым. В нем была двухэтажная беседка, в которой нередко бывал Островский и писал свои произведения».

Местные устные предания и мемуары потомков драматурга связывают с беседкой чаще всего его работу над двумя произведениями: драмой «Гроза» и весенней сказкой «Снегурочка». Первую Островский писал летом 1859 года, находясь в Щелыкове. По рассказам, описывая свидание Катерины с Борисом, он изобразил как раз тот овраг, на краю которого стоит беседка. «Снегурочка» же написана зимой 1873 года в Москве, но обдумывать ее Александр Николаевич мог и летом, сидя в щелыковской беседке. Во всяком случае, Мария Михайловна Шателен определенно подтверждает: «В семье Островских эту беседку называли «Снегуркина беседка», так как,

по словам матери, именно в ней Александр Николаевич обдумывал план своей весенней сказки…»

Флигель над обрывом

Есть в Щелыкове на редкость поэтическое место, совсем рядом со «старым домом» – просто надо повернуть влево от «черного» крыльца и идти вдоль забора по березовой аллее, посаженной по гребню склона еще отцом драматурга. Тогда вскоре мы войдем на небольшую площадку, ограниченную с востока оврагом, а с юга крутым спуском к Куекше. Внизу расстилается великолепный пейзаж: в центре пруд с круглым островком-пуговкой, к которому перекинут стежка-мостик, второй маленький мостик выгнулся справа, из-под него выбивается ключик-ручеек, а слева до самой реки – просторный луг. На нем повсюду купы деревьев и кустов: ивняк, верба, ольха, черемуха, тонкие тополя, осанистые березы…

На краю склона вкопаны две низеньких скамейки-лавочки. Сюда приходят посидеть, подумать, полюбоваться природой отдыхающие в Щелыкове артисты. На этом месте часто видели Александра Ивановича Сашина-Никольского с его неразлучной гитарой, здесь любили бывать Рыжова, Яблочкина, Пашенная, Блюменталь-Тамарина, Грибов, Бабочкин, Пров Садовский. Племянник последнего, Михаил Михайлович, тоже заслуженный актер и тоже «старожил» Щелыкова, писал в книге воспоминаний «Записки актера»:

«С высокого, крутого, почти отвесного обрыва открывается изумительный вид. Под обрывом лежит широкий луг, полого спускающийся к пруду. Посреди пруда островок, дальше – молодой перелесок из берез и осин, еще дальше – река Куекша, за которой стеной стоит темно-зеленый еловый лес. Воздух чист и прозрачен. Далеко-далеко видно каждую веточку, каждый лист.

Эти дали, их торжественный покой могла бы, пожалуй, передать кисть Левитана или Нестерова да, может быть, еще перо Паустовского.

Можно было часами стоять на том месте, любоваться этой панорамой, смотреть, как постепенно менялось освещение, когда вечер переходил в лунную ночь, как вырастали тени и загорались такие чистые, большие и яркие звезды. Порой казалось, что перед тобой дивная сказочная декорация, рожденная чудесами театра. Не хватало только музыки, хотя у каждого по-своему она тихо звучала в душе».

Но повернемся в противоположную от обрыва сторону. Там четко обозначились остатки расчищенного фундамента небольшого, почти квадратного в плане строения. Строения, некогда возведенного самим Александром Николаевичем,

именуемого в Щелыкове при нем «гостевым домом», а позднее «флигелем Михаила Николаевича».

Был Островский радушным и гостеприимным человеком, чрезвычайно хлебосольным хозяином. «У нас в Щелыкове чем больше гостей и чем дольше живут они, тем лучше», – не уставал повторять он в письмах. «Как ни хорошо в Щелыкове, а все-таки без гостей скучно, – сетовал драматург. – Приезжайте, приезжайте, приезжайте», – постоянно зазывал Александр Николаевич в свою костромскую усадьбу столичных и провинциальных друзей и знакомых. Те, конечно, приезжали, иногда сразу помногу, семьями, жили подолгу, неделями.

Александр Николаевич Островский. Фотография 1850-х годов

А усадебный дом был невелик и невместителен, а собственная семья у хозяина огромная и все прирастала, а близких родственников много, а сам драматург стосковался по подходящему месту для неизбежной и летом работы.

И вскоре после 1867 года, когда Александр Николаевич окончательно упрочился в Щелыкове на правах владельца, он решает – надо выстроить новый флигель. Специально для умножившихся гостей.

Место сам приглядел к востоку от «старого дома»,

уединенное, красивое. Площадка там достаточно просторная, а стояли там только детские качели. Подрядчика нашел в окольной деревне, человека, по собранным отзывам, опытного, хотя и пьющего, Абрама Иванова. Тот побывал в Щелыкове, все обстоятельно осмотрел, условился о цене, взял задаток и объявил, что стройку начнет по весне. Оставалось составить план.

Был у Островского в Москве задушевный друг, Николай Александрович Дубровский, всего на три года постарше. Происходил он из обер-офицерских детей, потому обучался на казенный счет в Архитектурном училище ведомства Московской дворцовой конторы и пробыл потом шесть лет на частной службе, послужив и в Сенате, прибился вновь к конторе, став даже ее казначеем. А у дворцового ведомства, ведущего крупные строительные работы, имелись собственные архитекторы. И вот в начале октября 1870 года к Дубровскому полетело шутливо-отчаянное послание:

Друже!
Я за песню все ту же!
Мне час от часу хуже,
И дела идут туже,
К довершению бед
Архитектора нет.
Планов тоже.
На что это похоже!
А подрядчик там ноет
И дома не строит.
Помоги, Дубровский!

А. Островский.

Дубровский откликнулся тотчас.

«Друже! – гласила его записка от 9 октября 1870 г. – Рекомендую тебе Сергея Аркадьевича Елагина, который с удовольствием принял мое предложение соорудить для тебя хату и украсить твой щелыковский сад разными беседками и павильонами.

Весь твой *Микола Дубровский».*

Архитектор Елагин справился с работой быстро, и драматург уже в ноябре выслал план дома в усадьбу для подрядчика, приступившего к заготовке материалов, а изображение фасада – брату Михаилу Николаевичу, тоже весьма заинтересованному в

постройке в Щелыкове флигеля. «Фасад дома мне очень нравится, – отзывался тот в письме, – но желал бы иметь план, потому что забыл расположение комнат. Пришли, пожалуйста, хотя бы начертанный твоею рукой».

Столовая в доме-музее А. Н. Островского

Абрам Иванов полагал приступить к стройке на месте весной, и Островский собирался лично надзирать за ходом работ. В 1871 году в Щелыково выехал он рано, 6 мая. Александр Николаевич торопился и потому, что в план, находившийся на руках у подрядчика, он задумал внести некоторые изменения. С архитектором он их обговорил. Сохранилась записка драматурга Дубровскому от 19 марта: «Сделай милость, заезжай за Елагиным и привези его ко мне, он мне нужен до крайности». В Щелыково Островский привез большую работу – начатую пьесу «Не было ни гроша да вдруг алтын», которую по сложившимся обстоятельствам обязательно следовало закончить к осени, однако и стройка сильно занимала его. А подрядчик Абрам оказался очень колоритной фигурой. До недавнего времени крепостной, обретавшийся в некотором приближении у своих бар, он усвоил уморительные позы и обороты речи, которыми и пользовался в сношениях с «господами». Это смешило драматурга и приехавшего к нему погостить Дубровского. Николай Александрович тогда вел дневник и 15 июня записал в него: «Меня сегодня насмешил подрядчик, который строит у

Островского новый дом, как своей фигурой, так и своими выражениями. Этому человеку лет за пятьдесят, среднего роста, черноволосый, с проседью, с окладистой бородой и с клюковным носом и щечками, доказывающими пристрастие его к горячительным напиткам. Подрядчик этот при начале разговора с Островским или женой его постоянно принимал одно и то же телоположение: выпрямлялся во весь рост, подбоченивался правою рукою и произносил очень хладнокровно следующее выражение: «Прибегаю к стопам вашим», – и затем уже объяснял причину своего прихода. Так, например, сегодня, когда Островский спросил его, что ему нужно, он ответил: «Прибегаю к стопам вашим с планом», – и вместе с сим, указывая на план дома, просил Островского разъяснить ему его недоумение».

Гость скоро уехал, хозяина одолевали всякие дела и заботы, так что Дубровскому он написал только 25 июля 1871 года – это было вообще его первое щелыковское письмо того лета. И в нем сразу же повествуется о ходе постройки флигеля. Интересуясь, как живет приятель, Александр Николаевич шутливо справляется: «Может быть, с Вами случилось то же, что с подрядчиком моим Абрамом Иванычем? Они загуляли с Казанской и пили до Ильина дня (с 21 июля по 2 августа по новому стилю – *В. Б.*), Ильин день и два дня после, на третий день явились пьяные со смирением, с слезением и с новоизобретенной фразой: приползаю к стопам вашим».

«Рассказ твой об Абраме Иваныче насмешил меня до слез, – отвечал из Москвы Дубровский, – бывало и с нами тоже, грешными, и мы, как Абрам Иваныч, приползали в свою хату чуть не на четвереньках, но все это бывало да быльем поросло».

А через месяц Островский вновь информировал друга о своих злоключениях с подрядчиком. «Абрам Иванов после того, как я писал к тебе, раза два приползал к стопам, а третьего дня выкинул новое колено: лишился молвы (как говорят здесь). Это удивительное происшествие случилось следующим образом: в полдень я вышел на стройку, куда явился и Абрам (он ездил в свою деревню для порядку, а воротился пьян); целый день он ходил за мной, желая побеседовать, ходил бодро, подперши руку в бок, но как ни старался, какие жесты ни делал другой рукой, как ни шевелил губами, ни одного звука не вылетало из уст. К вечеру бог его простил – заговорил он опять».

Тон письма благодушный – Александр Николаевич, видя, что флигель все-таки строится, как бы подтрунивает над незадачливым Абрамом. Но в то лето ему было в Щелыкове вовсе не весело. Кругом свирепствовала холера – только в маленькой соседней деревеньке Агишино от нее умерло одиннадцать

человек. Из близких друзей гостил летом в усадьбе один писатель Егор Дриянский, и то недолго. Мало было грибов, и плохо клевала рыба. А главное – стройка и проделки Абрама отвлекали от работы над пьесой «Не было ни гроша…». Очередной театральный сезон на носу, пьеса же далеко не окончена. «Из деревни я выеду к 1-му октября, – сообщал Островский 3 сентября актеру Федору Бурдину, – а в Петербург думаю приехать числу к 20-му октября же. Впрочем, только в том случае, если кончу новую комедию, над которой сейчас страдаю, пригоняя свою мысль в рамки действий и явлений. Только б справиться с этой каторжной работой, а писать уж мне недолго».

Работа, однако, затягивалась, и письмо от 14 сентября тому же Бурдину звучит отнюдь не столь оптимистически: «Я сижу за работой, погода у нас ужасная, – после жаркого и сухого лета с 1-го сентября начались дожди и холода постоянные, а теперь идет снег. Когда я выберусь из Щелыкова, одному богу известно, в такую погоду и по нашей дороге нельзя пуститься с детьми». То, что одна из причин задержки с отъездом из Щелыкова – достройка флигеля, драматург не упоминает – для Бурдина щелыковские хозяйственные проблемы тогда были безразличны, но в письме от 29 сентября к Дубровскому, находившемуся в курсе строительных дел, он горько жалуется: «У меня дела по горло – и новая пьеса, и возня с пьяным Абрамом, который то уползает от стоп, то приползает к стопам, а дела не делает и только задерживает меня в Щелыкове в эту раскаторжную погоду. По его милости я попаду в Москву не ранее 6 или 7 октября».

Вернулся Островский в Москву лишь 12 октября – так хотелось ему докончить строительство флигеля. И Абрам Иванов, сломленный упорством заказчика, преодолел на время свою пагубную слабость и, несмотря на непогоду, завершил и сдал постройку. Правда, на этом его отношения с владельцем щелыковской усадьбы еще не прервались. У Александра Николаевича недостало денег, чтобы своевременно рассчитаться с подрядчиком, и тот, как доносил управляющий, долго ходил в усадьбу, слезно вымаливая уплаты.

Флигель же удался на славу. Небольшой, бревенчатый, под железной крышей, он имел внизу три комнаты, а наверху в мезонине одну, протянувшуюся через весь дом и оканчивающуюся балконом, обвитым позднее диким виноградом. К верхней комнате по сторонам примыкали две светелки с небольшими окнами. Здесь в мезонине Александр Николаевич устроил свою резиденцию. Вдоль стен поставили семь поместительных высоких шкафов, где разместилась быстро растущая библиотека, а посредине комнаты – столярный верстак и стол с

прикрепленными к нему деревянными тисками для выпиливания.

Во флигеле Островский проводил все свободное время. «Островского, – делилась воспоминаниями знаменитая актриса Надежда Никулина, – я в Щелыкове иначе и не встречала, как в садовом павильоне, где он занимался резьбой по дереву, столярными работами, которые очень любил». «Утром до завтрака он отправлялся во флигель и там выпиливал замысловатые узоры», – вторил ей драматург П. М. Невежин. Корреспондент столичной газеты «Русское слово» изображал флигель «в виде небольшой дачки. Нижний этаж его был предназначен для гостей, наверху же была библиотека Александра Николаевича и станок, на котором любил он выпиливать. Этому любимому занятию Александр Николаевич предавался почти ежедневно после завтрака, между часом и четырьмя». Возведение флигеля позволило драматургу серьезно заняться столярным делом – тогда же примерно поселился в Бережках и его учитель Соболев – и создать в Щелыкове библиотеку, необходимую ему для творческой работы.

Но, конечно, главным назначением флигеля было устройство гостей. Число их в Щелыкове стало увеличиваться уже с 1872 года. «Как здоровье Васильева (Павла Васильева – известного петербургского актера. – *В. Б.*)? – запрашивал Александр Николаевич в марте 1872 года Бурдина. – Не полезнее ли ему будет для поправки приехать ко мне на лето». Таких приглашений в первую же весну после возведения флигеля драматург разослал не одно. В это лето в Щелыково приехала погостить даже не бывавшая здесь с 1867 года прежняя владелица усадьбы Эмилия Андреевна Островская. А Островский, зазывая позднее к себе актера Николая Игнатьевича Музиля, отмечал: «К Вашим услугам будет целый дом, нарочно выстроенный для гостей».

Дом-музей А. Н. Островского. Южная терраса

Со временем благоустраивается и территория вокруг флигеля. Рядом с ним зацвели кусты сирени и жасмина, спереди, у самого здания, посадили клен, который лет через тридцать превратился в могучее дерево. С северной стороны флигеля устроили крокетную площадку, где играли дети драматурга и приезжавшие к ним друзья. В ложбинке же за «гостевым домом» притулилась очень маленькая банька, топившаяся «по-белому».

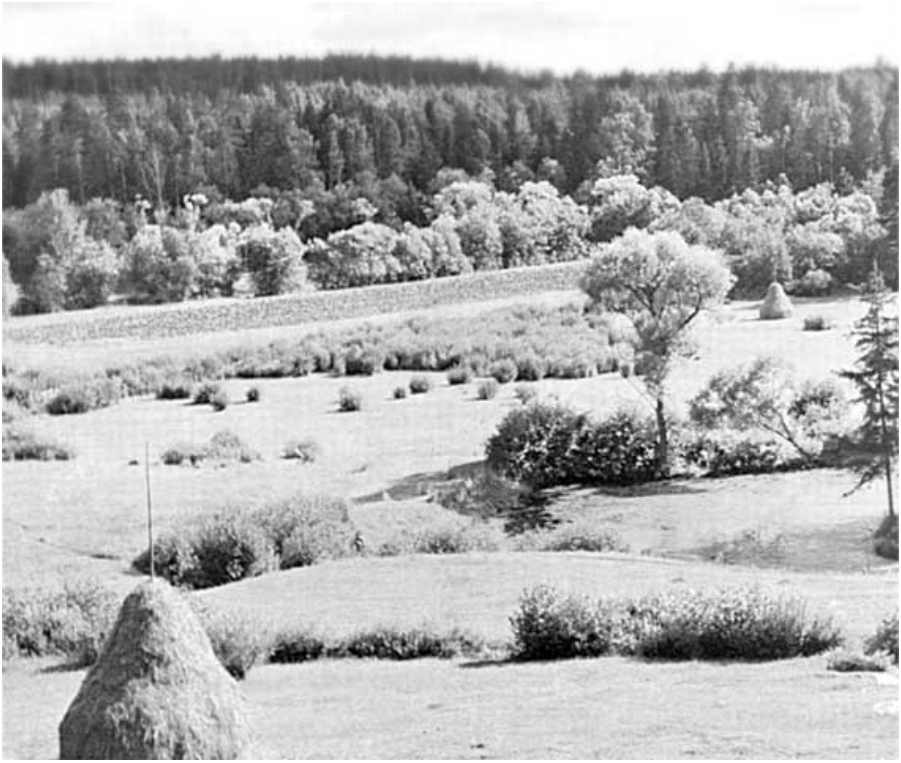
При жизни драматурга его брат Михаил Николаевич,

совладелец Щелыкова, занимал помещение в «старом доме» – северную гостиную и смежную с ней узкую комнату. Однако в конце 1880-х годов, не ладя с вдовой брата, он перебрался во флигель, где и жил, приезжая в усадьбу на лето. Михаил Николаевич расширил домик, пристроив к нему с восточной и северной сторон ряд комнат, второе крыльцо и застекленную веранду вверху. Именно таким изобразил флигель петербургский акварелист Андрей Иосифович Садкевич, отдыхавший в Щелыкове после болезни у своей приятельницы и тоже художницы Марии Александровны Шателен в конце прошлого столетия.

Задуманный драматургом как подсобное помещение, флигель через два десятилетия все больше превращался в центр самостоятельной усадьбы, расположенной в восточной части обширного щелыковского парка и отгородившейся от «старого дома» штакетным забором. Долголетний министр государственных имуществ, влиятельный член Государственного совета, привыкший во всем действовать «с размахом», Михаил Николаевич и в своих щелыковских владениях устраивается солидно и фундаментально. Желая вести отдельное хозяйство, рядом с флигелем он построил здание для кухни, а у оврага – помещение для конюшни и каретного сарая. Широкая дорожка, обсаженная с обеих сторон елями и соединенная с проселком, обеспечивала обособленный выезд. Михаил Николаевич мечтал даже о собственном парке – он сам засадил молодыми липками целую площадку вокруг дома.

Но М. Н. Островский искренне любил и берег Щелыково, с благоговением относился к памяти брата и не мог с прискорбием не сознавать, что неприязнь к Марии Васильевне завела его слишком далеко. Поэтому он завещал принадлежащую ему половину Щелыкова не дочерям рано умершего брата Сергея Николаевича, которых он опекал и воспитывал, а старшей дочери брата-драматурга Марии Александровне Шателен, не слишком ладившей с матерью, взяв с нее обещание, что она построится заново за парком, на лугу вблизи деревни Лодыгино.

Скончался Михаил Николаевич в 1901 году. Его наследница, как и обещала, вскоре снесла все постройки, разобрала флигель и использовала доски и бревна для строительства так называемого «Голубого дома» в западной части Щелыкова, но тоже над крутым спуском к Куекше. В этом здании в 1928 году и был открыт дом отдыха Малого театра.



Щелыковские дали

Мельница Тарасиха

Своенравна, ох, как капризна и своенравна красивая щелыковская речка Куекша. И невелика-то она – вся течет по территории одного Островского района: начинается среди бочагов в сосняке за деревней Аферихa, потом расширяется в ручей, под Мининым образует даже плесы, а уже у Долгова, невдали от самого Щелыкова, приобретает вид реки. И узка – два-три метра в ширину. И немноговодна – повсюду почти дно просвечивает. А вот постоянно меняет свое русло, разрушая рыхлый левый берег и намывая правый. И мемориальная заповеданность Щелыкова ее, увы, не смущает. Не так и давно, в 1930-х годах, проточила Куекша берег чуть повыше места, где реку пересекает дорога в усадьбу, ринулась влево по проделанному новому руслу и… вскоре исчезли самые следы мельницы, столь памятной и дорогой всем почитателям Александра Николаевича Островского.

Старинная была мельница, еще с кутузовских времен, и по документам вплоть до середины прошлого века именовалась «Тарасиха» – по имени первого мельника. Когда драматург впервые тут появился, место было совсем обжитое, обстроенное. Между проселочной дорогой и рекой стояла на левом берегу небольшая кузница с станком для ковки лошадей. Ближе к воде располагалась избушка под соломой – в рабочую пору жили в ней мельники. Возле, тоже под соломенной крышей, – двор, где ставились лошади и телеги. Поблизости находился крытый тесом амбар.

Мельницу построили прямо в реке, на сваях. Она была двухэтажная, рубленая, под тесовой крышей. Наверху крутились два жернова для помола зерна, внизу, у самых почти колес, работала «толкуша», на которой перетирали овес и ячмень. С трех сторон обрамляла мельницу узкая крытая галерея; с правым, довольно высоким берегом здание соединялось мостками, ведущими поэтому прямо на второй этаж. Мельничная плотина была без затей, но широкая и крепкая, с несколькими затворами и бревенчатым водосливом. У левого берега виднелось два деревянных лотка. По одному шла вода к колесам мельницы, по другому, что подлиньше, – к стоявшей рядом с нею, и тоже на сваях, маслобойке. Здесь выжималось льняное масло.

Река Куекша у въезда в усадьбу Щелыково

Маслобойка была памятником строительного рвения самого Александра Николаевича, да и мельница за двадцать лет хозяйствования в Щелыкове перестраивалась им неоднократно. «Я был вчера на мельнице, – с гордостью сообщал он в 1877 году, – постройка отличная, но кругом навалено старого лесу». Впрочем, Островские непосредственно мельницей не занимались, предпочитая сдавать ее в аренду. С мельником Евгением Ивановичем Луковкиным, мужиком еще молодым, но степенным, развитым и обязательным, к тому же и песенником, Александр Николаевич подружился. Он бывал у Луковкина в деревне Василево, где тот жил, любил беседовать с ним, иногда чем-то и помогал, в частности, лесом. И тронутый ласковым вниманием мельник относился к щелыковскому хозяину с почтением и симпатией, старался посильно отблагодарить его. «Сегодня, – писал в 1877 году драматург, – мельник привел в подарок теленка, которого он поил для нас восемь недель».

Подарок был искренний, сделанный без всякого подобострастия. Сошлемся для подтверждения на один лишь факт. Василево было расположено между Щелыковом и Ивановским лесом, богатым ягодами и грибами, куда Островский часто ездил с семьей и гостями. В июле 1870 года его навестил Н. А. Дубровский. Друзья решили сходить по ягоды в Ивановский лес. Но «едва мы углубились в лес, – вспоминал Дубровский, – как услышали дальние раскаты грома и поспешили возвратиться

в деревню и скрылись от дождя в избе мельника. Войдя в избу, меня порадовала ее опрятность, а также простота и радушие ее хозяев и всей семьи их… Часам к девяти гроза стихла, и дождь перестал… и мы вскоре выехали из деревни, провожаемые кучкою людей, которые вывели нас за деревню и пожелали доброго пути. Надо заметить, что хозяйка, ее дети и работник во время нашего у них пребывания сидели вместе с нами и вели с нами разговор; в этих людях не было видно никаких признаков отжившего рабства – они были незастенчивы и совершенно свободны в обращении с нами. Благо бы было бы для земли русской, если бы все крестьянские семьи походили на семью мельника, в которой совершенно неожиданно привелось мне провесть несколько часов».

И все-таки чаще Островский навещал Луковкина не в Василеве, а на самой Тарасихе. Его привлекали не только чистоплотность и гостеприимство мельника. Дело в том, что мельничная плотина и омут были для драматурга излюбленным местом рыбной ловли. Александр Николаевич обследовал все водоемы окрест Щелыкова и пришел к выводу, что лучшего местечка, где так клюет рыба, как на мельничном омуте, нет. А Островский был завзятым, страстным рыболовом! Этой страстью он заразился еще в 1840-е годы на Царицынских прудах под Москвой, а обосновавшись в костромской усадьбе, уже не мыслил свою летнюю жизнь без рыбной ловли. Иногда драматург приезжал на отдых в Щелыково слишком рано, когда вода у мельницы была спущена. Тогда приходилось терпеть, ждать и скучать. «На омуте еще ловить нельзя, только запрудили», – сетовал Александр Николаевич в письме от 16 мая 1869 года. Зато когда в омуте начинала гулко плескаться рыба, он блаженствовал. Он не ленился подниматься на утренней заре, когда рыба брала лучше и, человек мнительный, выбирался на омут даже в пасмурную погоду и будучи нездоров: «Утром я хожу ловить рыбу, – извещал он, – хотя это и недалеко, но очень велика гора». Подниматься от мельницы назад в гору Островскому было, действительно, очень трудно – при болезни ног его еще мучила одышка.

Писателя-рыболова, ловящего поутру у мельницы, долго поминали местные крестьяне. Горничная Островских, Анна Смирнова, жившая при них в Щелыкове, рассказывала: «По нашему крестьянскому обычаю, мы рано вставали. Солнышко еще не высоко стояло, бежишь, бывало, на колодец за водой и видишь – спускается по тропке под гору Александр Николаевич с ведерком и удочками в руках. Любил он ловить рыбу и ловил каждое утро, даже в плохую погоду».

Это вовсе не означает, что Островский не ходил на мельницу и днем, после позднего в усадьбе утреннего чая. Актер К. В. Загорский, приезжавший в Щелыково в 1866 году, вспоминал, как, позавтракав, он и Александр Николаевич «отправились к мельнице ловить пескарей (живцов), чтобы на них потом ловить щук… Поймав несколько штук пескарей, мы сели в лодку и поплыли к самой мельнице, привязавши лодку к кольцу, нарочно для этого вбитого в стену мельницы, и начали ловить щук».

Надо отметить, что к ловле щук, которыми омут изобиловал, Островский испытывал особое пристрастие, хотя в охоте на них не всегда был удачлив. Крестьянский мальчик из Бережков Ваня Соболев, спутник драматурга на рыбалках, рассказывал позднее:

«Сидели мы однажды с Александром Николаевичем на Куекше возле плотины и рыбачили. Большая щука оборвала леску. Александр Николаевич сильно опечалился. Я бросился в воду, чтобы схватить обрывок лески со щукой, но – увы! – опоздал. Щука ушла в глубину. Тогда Александр Николаевич сказал: «Что ж, Ваня, делать, не наше счастье»».

У мельницы на реке Куекше драматург подолгу сидел с

удочкой в этом кресле

Пожалуй, Островский излагает собственное отношение к речной хищнице, сочинив монолог Аристарха из комедии «Горячее сердце»: «Отчего я люблю щуку ловить? Оттого, что она обидчица, рыба зубастая, так и хватает. Бьется, бьется, бьется мелкая рыба, никак перед щукой оправдаться не может».

Подобно Аристарху, драматург любил поговорить о рыбе, особенно зимой, при встречах с петербургскими и московскими друзьями. Дочь его приятеля Ф. А. Бурдина писала: «Он был большой рыболов. Я любила, притаясь, слушать его рассказы о том, как он ловил рыбу нынче летом. Помню, что меня очень удивляло, что, по его словам, судак очень робкая рыба… Говорил он также и о том, что этим летом язики и шилишперы почему-то не шли на червяка, а предпочитали живца, а что «на донную» он наловил много щук и окуней, «Рыба хитра, но человек премудр, – говорил он, – и всегда сумеет перехитрить рыбу».

Конечно, на практике подобная сентенция сбывалась не всегда. «Ездили на омут, под мельницу, ловить на живцов рыбу, – записал в 1870 году в дневнике Н. А. Дубровский, – но ничего не поймали, хотя ловили на пять удочек». Такие конфузы, однако, случались редко. Писатель С. В. Максимов, не раз гостивший в Щелыкове у Островского, авторитетно свидетельствует: «У него, как у опытного и прославленного рыболова, что ни занос уды, то и клев рыбы – обычно щурят – в омуте речки перед мельничной запрудой, и в таком количестве при всякой ловле, что довольно было на целый ужин». А ведь «рыболовный университет» драматург проходил именно на щелыковской мельнице!

На омуте Островский ловил рыбу обычно с лодки, которую пригонял сверху, от купальни под усадьбой, и привязывал к кольцу в стене мельницы. Но с возрастом долгое сидение в неустойчивой лодке стало-таки его утомлять, и он перешел с удочками на опоясавшую мельницу галерею. Стоять часами драматург тоже не мог – у него болели ноги, застуженные когда-то на похоронах Гоголя, и для него поставили на галерее специальное кресло. Это кресло, с овальной спинкой, подлокотниками и круглым сидением из полосок мягкого рессорного железа, сделали Островскому по его рисунку в конце 1870-х годов здесь же в кузнице. Удобно сидя в нем и забрасывая сверху удочку, Александр Николаевич подчас терял представление о времени, рано выйдя из дома, мог не вернуться к завтраку. Тогда к нему из усадьбы снаряжали посыльного с закуской. Сидение на реке с удочками действовало на Островского исключительно благотворно. «И меня, – писал он в

1880 году, – рыбная ловля и вообще деревня всегда значительно поправляет». Характерно, что при любом исходе рыбалки драматург приходил в благодушное настроение и никогда не сердился на неумелых партнеров. Так, секретарь драматурга Н. А. Кропачев впервые побывал в Щелыкове в августе 1881 года. «Мы вдвоем тогда удили с лодки рыбу, – вспоминал он. – Рыба брала плохо. Александр Николаевич поймал несколько штук плотвы (по-местному – сорога) вершков на пять-шесть, а я одного пескаря. Вообще мне не везло; шелковая леса моей удочки то сматывалась узлами, то захлестывалась в густую осоку или водоросли, что очень не нравилось Александру Николаевичу, и он добродушно ворчал на меня:

– Ну, вот, всю рыбу распугал. Лови тут!

– Незадача! – оправдывался я. – Зато утром каких голавликов штук десять наловил, ростом с вашу плотву.

Александр Николаевич молча улыбался».

На рыбалке тем не менее Островский не сосредоточивал все внимание только на поплавках – когда клев был плохой, он был не прочь поговорить, послушать что-нибудь любопытное. Это в свое время описал известный актер Михаил Провович Садовский:

Кабинет писателя

«В конце семидесятых годов в один из моих приездов к Александру Николаевичу в Щелыково мы, по обыкновению, сидели с ним около мельницы с удочками: рыба не клевала; Александр Николаевич был скучен; желая его развлечь, я

принялся болтать всякий вздор и как-то незаметно перешел к рассказу о том, как некоторый бедный человек от нужды поступил в дикие. Пока я фантазировал на все лады, Александр Николаевич не спускал с меня своих ласково-смеющихся глаз, и, когда я кончил фантастическое повествование, он взял с меня слово непременно написать этот рассказ».

Но и для творческого процесса самого Островского рыбная ловля на щелыковской мельнице имела значение далеко не маловажное. Об этом красочно повествует его брат Петр Николаевич Островский, ближайший литературный советник и помощник драматурга: «У брата ничего подобного не было – никакой записной книжки, никаких заметок… Сюжет, сценарий, действующие лица, их язык – все сидело полностью внутри до самого написания пьесы… Весь этот важнейший подготовительный процесс задуманной пьесы протекал обыкновенно у Александра Николаевича во время летнего отдыха в его любимом Щелыкове. Там, пока Александр Николаевич часами сидел на берегу реки, с удочкой в руке, пьеса вынашивалась, тщательно обдумывалась и передумывались ее мельчайшие подробности… Сижу я как-то раз возле него на траве, читаю что-то – вижу, сильно хмурится мой Александр Николаевич.

– Ну, что, – спрашиваю, – как пьеса?

– Да что, пьеса почти готова… да вот концы не сходятся! – отвечает он, вздыхая».

Здесь, у тихого омута, вероятно, обдумывались и «Лес», и «Волки и овцы», и «Бесприданница» – все пьесы, над которыми Островский работал в Щелыкове. Иногда он с рыбалки, занеся в чулан удочки, проходил прямо в кабинет и склонялся над бумагой…

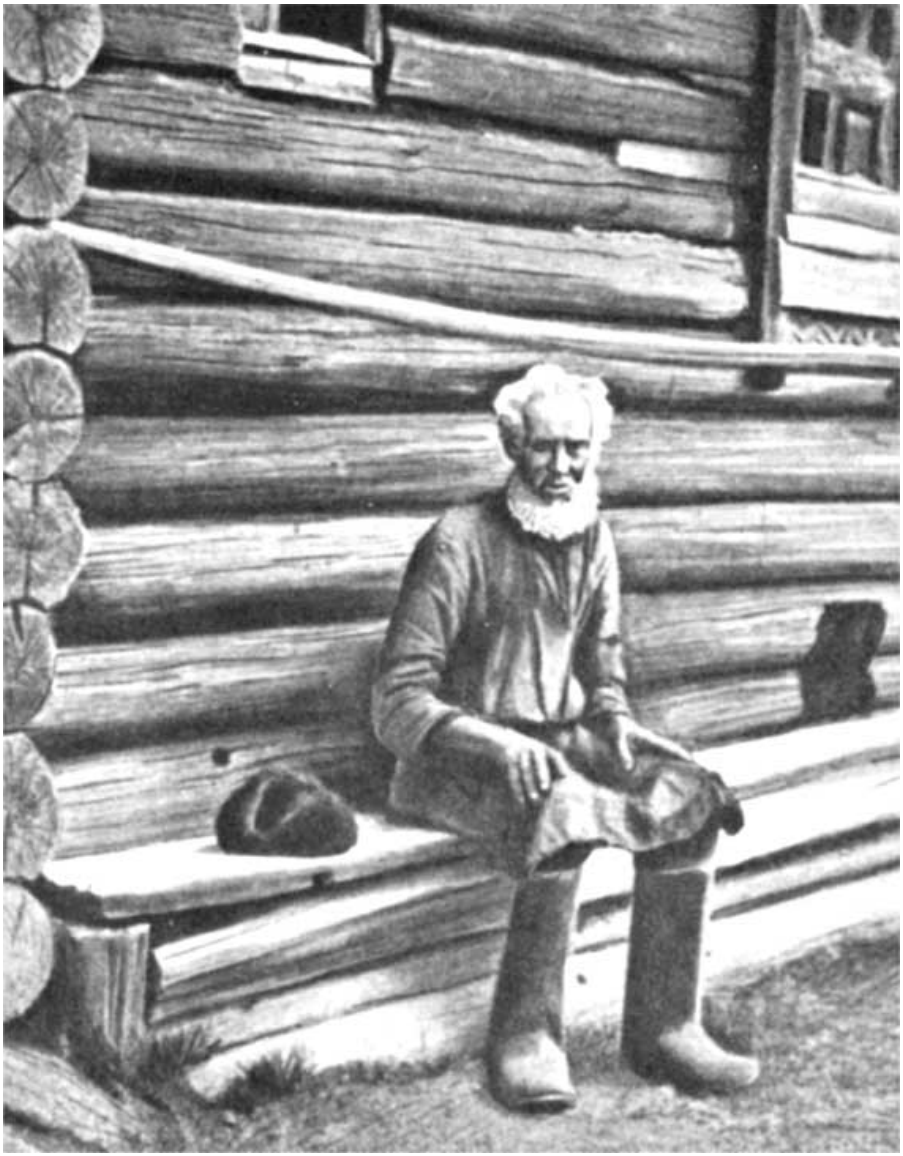
Ныне вместо глубокого омута на месте бывшей мельницы Тарасихи разлилась мелкая заводь. Плотина перенесена ниже по течению и ничем не напоминает старую. И только большой мельничный жернов на островке, хорошо видимый летом с дороги, обозначает место, где долгие часы сидел с удочкой в руках, размышляя над своими пьесами, драматург Островский.

Щелыковское поле

Лобаново, что на Сендеге, – деревушка небольшая. И то в последние десятилетия выросла она вдвое за счет московских дачников, которые облюбовали для отдыха это красивое место, а при Островских Лобановка, как они чаще именовали селение, насчитывала всего восемь изб. От нее до Щелыкова ровно верста, и все полем. Нынче поле называется «Лобановским», обрабатывается соседним колхозом, и объездная дорога к Дому творчества делит его пополам. А в прошлом веке поле принадлежало Островским, и проселочные дороги расчленяли его на три части. Часть поля засевалась зерновыми, другая – травами или горохом, а последняя треть сдавалась в аренду лобановским крестьянам.

Поле лежит прямо за щелыковским парком, к северу от него, и хорошо видно из окон щелыковского дома. Александр Николаевич, когда хотел побывать в Субботине, обходил поле стороной, справа, а когда направлялся в Лобаново, пересекал его поперек, там, где тропинка бежала вдоль ряда частых берез или «гривы», протянувшейся от щелыковского проселка до самой деревни.

У южной кромки поля, за проселком и прямо против усадебных ворот стоял огромный амбар. Он был рубленый, двухэтажный, с галереями вокруг каждого этажа, разделенного на восемь отсеков, – последний из двух кутузовских хлебных амбаров, сооруженных в XVIII веке (в 1928 году амбар перенесли на территорию дома отдыха и переоборудовали в жилой корпус, именуемый по-французски «шале»). За амбаром вдоль всего поля тянулась жердяная изгородь.



Крестьянин из деревни Субботино. Архивное фото

Александр Николаевич был типичный горожанин, более того – столичный житель. Только на пятом десятке лет, став владельцем усадьбы, он соприкоснулся вплотную с сельским хозяйством. Поначалу Островский наивно надеялся превратить Щелыково в доходное имение, вести собственную запашку. Местом, где ему учиться хозяйствовать, драматург как раз и избрал поле перед усадьбой. Оно и поблизости, и все там знакомо, и приказчик для подсказки рядом, и сельскохозяйственные строения здесь же. И в августе 1870 году Александр Николаевич не без гордости сообщает Бурдину: «… за

уборкой и за молотьбой надо присмотреть самому».

Увы, скоро Островский убедился, что хозяин он никакой. Проверить, как добросовестно выполняются назначенные работы, он, по незнанию, не умел, прикрикнуть на нерадивого работника у него не хватало духу. Хозяйство стало приносить чистый убыток и отнимать массу времени. Александр Николаевич все чаще всякие дела по имению перекладывает на Марью Васильевну. Та было загорелась, вошла в роль, но амплуа помещицы ей, недавней воспитаннице Московского театрального училища, тоже не вполне удалось, и она столь же быстро остыла. Единственное, о чем она постоянно пеклась, была борьба с потравами. Поле подходило к самой околице Лобанова, и тамошние жители частенько выпускали на него свой скот, и по беспечности, и надеясь на ведомую доброту владельцев усадьбы. «Часто, – вспоминает современница-крестьянка, – случалось и так: попадет лобановская скотина в поле или на луг к Островским, Марья Васильевна тут же отдаст распоряжение загнать на двор заблудившуюся корову или лошадь. Придут в усадьбу лобановские мужики, снимут шапки и стоят да кланяются перед Марьей Васильевной:

– Матушка, барыня, вызволь нашу скотину… выгона маленькие, пастушонко плохой, не доглядел.

А Островская ответит:

– Этак вы у меня все луга стравите, мужики!

Выйдет на шум и Александр Николаевич, послушает, поглядит на мужиков и скажет тихо так, вежливо обращаясь к жене:

– Выдайте, матушка Марья Васильевна, скотину мужикам».

Махнув рукой с 1870-х годов на усадебное хозяйство, Островский, однако, по-прежнему считал своей даже мужской обязанностью присматривать за обмолотом хлеба. К тому же его зрелищно захватывала дружная работа на току мужиков и баб, нравилось ходить меж куч золотистого зерна, вступать в вороха мягкой соломы. Вдобавок и рига была рядом, метрах в пятистах от усадьбы, у восточной границы поля.

Щелыковское лето 1884 года складывалось для драматурга благоприятно. Ловилась в речках рыба, навещали друзья, стояла солнечная сухая погода, позволившая рано кончить уборку хлебов. И еще на редкость успешно подвигалась работа над пьесой «Не от мира сего», которую он обещал написать к бенефису своей любимой актрисы Пелагеи Стрепетовой.

Мария Васильевна Островская (Васильева), жена писателя

До отъезда в Москву оставалось совсем недолго, жена начала уже укладывать вещи.

Но с середины сентября до столичных друзей стали доходить глухие вести, что в Щелыкове что-то стряслось, а через неделю

Федор Бурдин получил от Островского письмо, датированное 20-м сентября и написанное дрожащей рукой.

«Я едва в состоянии держать перо в руках, – с волнением читал актер, – чтоб описать тебе наше горе. Вот уже прошла неделя, а я только в первый раз пришел в себя и могу писать и рассуждать. В ночь с 13-го на 14-е число у нас зажгли гумно разом в семи местах; я еще не спал, Марья Васильевна была уже в постели; увидали сверху Маша и гувернантка, увидал и приказчик из флигеля; но пока успели добежать, уж все пылало в разных местах. Через 10 минут это был ад. Хорошо, что было тихо; если бы северный ветер, который только что затих, не было бы никакой возможности спасти усадьбу. Ометы соломы, сараи, крытые соломой, до 30 тысяч снопов хлеба в скирдах, если бы все это понесло на усадьбу! Сбежался народ, но все были пьяны по случаю местного праздника Воскресения славущего. Я не отходил от Марии Васильевны, сначала у ней отнялся голос, потом начались нервные припадки и обмороки. Меня точно кто-нибудь сильно ударил в грудь, все ноет, весь трясусь, отвращение от пищи, отсутствие сна; сегодня только я прихожу в себя и чувствую, что опасность миновалась, но уж здоровье надломлено – я в одну неделю сильно постарел, и мне уж не поправиться. Все лето копили здоровье и стали было поправляться, особенно Мария Васильевна, одна ночь разбила все. Убыток для меня огромный, тысяч более трех – разоренье; где я их возьму!»

Более всего поразило Александра Николаевича, что поджог был преднамеренным. Огромную каменную ригу, построенную в кутузовские времена, подпалить было не просто, но злоумышленники дождались, пока на гумно свезли тысячи снопов ржи и пшеницы. Островский верил в добрые отношения с соседними крестьянами, даже не держал на риге сторожа. Ведь он считал себя в Щелыкове не помещиком, а добрым другом окрестных жителей – они приходили к нему за советами и помощью, избрали его своим мировым судьей, арендовали у него за смехотворную плату усадебные земли, пользовались его лесом. А Мария Васильевна, могла ли она дать какой-то повод, чтобы с ними так обошлись? Едва ли. Все знали, что она вспыльчива, да отходчива, привыкли к ее крику. И приказчик Николай Любимов сам из тиминских крестьян, пол-округи у него сватовья и кумовья, нравом же совестливый, мягкий. Нет, субботинские, лобановские и василевские не могли поджечь, разве что ладыгинские – они издавна не щелыковской вотчины, чужаки и всегда в спорах с усадьбой за межи и водопои. Одно ясно – поджигали несколько человек и метили сжечь не только ригу, а и усадьбу, не подозревая, что ветер утихнет.

Брата, Михаила Николаевича, тоже волновал вопрос о причинах поджога. «Ты пишешь, – откликнулся он на сообщение драматурга о пожаре, – что ни с твоей стороны, ни со стороны Марии Васильевны не было дано повода к поджогу… Я в этом нисколько не сомневаюсь, но так как какие-нибудь побуждения да заставили же поджигателей совершить преступление, то очень бы важно было узнать эти побуждения».

Александр Николаевич не проводил расследования, хотя, разумеется, до него доходили разные слухи и предположения. Отвечая брату, он исходил из собственных многолетних наблюдений местной жизни. Островский помнил, как досаждали ему, упившись, «шут Балакирев» из Кутузовки или «приползающий к стопам» подрядчик Абрам – люди, не видевшие от него ничего, кроме хорошего. А разве можно угодить всем и каждому? И, видимо, драматург был недалек от истины, когда писал брату: «Даже и злой человек без всякого повода или по ничтожному поводу не решится на поджог, но стоит ему осатанеть от водки, так он и за пять лет какую-нибудь обиду вспомнит. А поводы всегда найдутся. У нас, например, все выгоны предоставляются крестьянам чуть не даром, за один день косьбы, да их же еще за это поим водкой, хотя всеми крестьянами дана подписка, засвидетельствованная в волостном правлении, но исполнять эту работу по первому требованию, добровольно, выходят обыкновенно далеко не все, нужно посылать за ними, принуждать, браниться, – вот и повод… И теперь есть два злых человека, на которых и падает подозрение и против которых есть некоторые улики. И в этом преступлении главные побуждения злость и потом водка. 13-го числа в Субботине был праздник Воскресения славущего и все были пьяны, а повод какой-нибудь ничтожный был, вроде грубого слова или отказа в какой-нибудь пустой просьбе, никак не больше».

Дети А. Н. Островского

Конкретные виновники поджога так никогда и не были обнаружены.

Александру Николаевичу после случившегося было тяжело оставаться в усадьбе, не мог он там работать и над пьесой. 27 сентября драматург вернулся в Москву. Но и здесь он не мог

забыть о кошмаре, пережитом в Щелыкове в ночь на 14 сентября. И ровно через месяц, 14 октября, в письме к Стрепетовой он красноречиво описывает свои переживания: «…сгорело гумно, на котором были скирды хлеба и большой молотильный сарай с машинами. Пожар в деревне, ночью, при полной беспомощности – дело ужасное. Рядом с домом целое море пламени, малейший ветер – и от усадьбы не останется ни щепки. Суматоха, крики, плач женщин, Марья Васильевна в обмороке, так что неизвестно, жива она или нет. Не моим нервам переносить подобные ужасы – они и разбились. Я долгое время весь дрожал, у меня тряслись руки и голова, кроме того, совершенное отсутствие сна и отвращение к пище. Я не мог не только писать, но даже двух мыслей не мог связать в голове. Я и теперь еще не совсем оправился и более часу или двух в сутки работать не могу».

И о том же, о потере здоровья, как следствии пережитого в Щелыкове потрясения, писал Островский Бурдину, которого взволновал, главным образом, материальный ущерб, причиненный другу: «Ты пишешь, что с моим талантом материальный ущерб скоро поправится. Нет, не поправится: я писать совсем не могу, так что не знаю, кончу ли начатую пьесу, и она уж, во всяком случае, будет последней…»

А. Н. Островский. С портрета художника В. Г. Перова

Драматург был мнителен, но на сей раз он, к сожалению, не ошибся. Драма «Не от мира сего» была, действительно, его последним оригинальным произведением и принадлежит – о причинах догадаться нетрудно – к числу слабейших его пьес. Островский предполагал закончить ее в октябре, а с великим трудом завершил только к середине декабря 1884 года. К работе побуждал его долг: «Я, – объяснял он, – обещал Стрепетовой написать пьесу для ее бенефиса и должен был во что бы то ни

стало сдержать свое слово», поэтому работал «обставленный лекарствами». Здоровье к Александру Николаевичу уже не вернулось: у него до последнего дня сильно дрожали руки, тряслась голова, слезились глаза.

На следующее лето, по приезде в Щелыково, гумно Островский частично восстановил, не желая, вероятно, чтобы вид пепелища рядом с усадьбой постоянно напоминал ему о трагическом происшествии. Внучка драматурга, Мария Михайловна Шателен, вспоминала, что в конце XIX века там находились рига, овин, открытый ток и навес для молотилки, приводимой в движение четырьмя лошадьми. Тут же стояла веялка с ручным приводом. А несколько восточнее виднелись три ямы от прежних строений, совсем старые, заросшие высокой травой и крапивой, – над ними выросли дикие яблони.

В 1960-х годах марковский колхоз имени А. Н. Островского построил на территории прежней риги, снесенной окончательно лет за сорок до этого, большой деревянный склад минеральных удобрений под шиферной крышей, отчетливо просматривающийся, особенно в зимнее время, из окон антресольного этажа и северной гостиной мемориального дома. Однако поставлен склад перпендикулярно нынешней «прогулочной аллее», рига же была развернута параллельно ей. Так что теперь ничто там не напоминает места, где разыгралась одна из самых горьких трагедий щелыковской жизни великого драматурга.

Заречная слободка Берендеевка

В ближайших окрестностях Щелыкова немало очаровывающих, запоминающихся мест: Субботин луг, Красный обрыв, Ярилина долина, Стрелка. И еще – любимые Бережки…

Путь в Бережки

От сельца Щелыкова до селения Николо-Бережки всего около полутора верст. Когда Александру Николаевичу случалось проходить такое невеликое расстояние, он обычно его и не замечал – столь живописна была сама дорога, так откровенно приоткрывала там прохожему человеку свои укромные уголки природа. Извилистая Куекша с ее плесами, чистый и звонкий сосняк, глубокие таинственные овраги, гремучий ручеек… Все волновало, все хватало за душу…

…С приснопамятной зимы 1853 года, с внезапных похорон отца. Он получил известие о тяжелой болезни Николая Федоровича в Петербурге, где готовилась к постановке в императорском Александрийском театре, где еще ни разу не ставились его пьесы, комедия «Не в свои сани не садись». Бросил все, уехал. Тогда он, как ни торопился, попал в Щелыково только к похоронам, усталый с дороги, шел за санями с гробом отца по засыпанной снегом тропе, сильно горевал. И все-таки навсегда врезались в память увиденные единый раз в жизни не зелеными, а белыми Бережки, утонувшие в пушистых сугробах. Через двадцать лет Островский в «Снегурочке» воссоздал февральский пейзаж окрест погоста: «Направо кусты и редкий безлистный березник; налево сплошной частый лес больших сосен и елей с сучьями, повисшими от тяжести снега; в глубине, под горой, река». Если стоять у могилы отца лицом на запад, так все и есть: березник – фомицынский перелесок, на Красном обрыве – сосны, впереди под горой – Куекша. Настроение тогда, понятно, было тяжелым, удрученным, и виденное вокруг представлялось пасмурным и нерадостным. И отца, и землю равно покрыл саван.

Печальный вид: под снежной пеленою.
Лишенные живых веселых красок.
Лишенные плодотворящей силы,
Лежат поля остылые. В оковах
Игривые ручьи, в тиши полночи
Не слышно их стеклянного журчанья.

Леса стоят безмолвны, под снегами
Опущены густые лапы елей,
Как старые нахмуренные брови.
В малинниках, под соснами, стеснились
Холодные потемки, ледяными
Сосульками янтарная смола
Висит с прямых стволов. А в ясном небе,
Как жар, горит луна, и звезды блещут
Усиленным сиянием. Земля,
Покрытая пуховою порошей,
В ответ на их привет холодный кажет
Такой же блеск…

Бережки – сельский погост, там могила отца. Но погост – не просто кладбище, а слово с более емким смыслом. В старину это – место, куда сходились в обусловленное время окрестные жители на совет, для решения мирских вопросов. Погост был традиционным центром всей округи, тропы к нему протаптывались со всех сторон. Это – и приходская для Щелыкова Никольская церковь. Александр Николаевич не отстаивал в храме каждодневно обедни и заутрени, однако дедовские обычаи – так оно и спокойнее! – старался соблюдать, бывал у Николы на престольные праздники и в «царские» дни. Впрочем, сам светлый и веселый храм ему даже нравился, а особенно изящный иконостас с древними иконами, новые оклады для которых заказывал незадолго до кончины отец.

Овраг на пути в Николо-Бережки

В Бережках жили знакомцы: не по годам степенный и умный резчик Ванюша Соболев и смешной непоседа многосемейный дьячок Иван Иванович Зернов. С ними всегда приятно побеседовать, выспросить местные новости, напиться всласть чаю.

Никольская церковь

Основное же, что подвигало Островского на излюбленные прогулки в Бережки и в погожие и, подчас, в дождливые дни – красота погоста, которая умиляла, от которой щемило сердце. Недаром в весенней сказке «Снегурочка» он изобразил Бережки, приютившиеся над Куекшей, под именем «заречной слободки Берендеевки». «На правой стороне, – характеризуется в первом действии, – бедная изба Бобыля с пошатнувшимся крыльцом, перед избой скамья; с левой стороны большая раскрашенная изба Мураша; в глубине улица, через улицу хмельник и пчельник Мураша, между ними тропинка к реке».

Таковы были и Бережки, ежели подниматься к ним по

тропинке от реки Куекши, из-под горы. Справа – изба Соболева. Замечательный столяр, Иван Викторович в силу загруженности разными заказами, а еще по собственной безалаберности, мало заботился о своем жилье, и изба выглядела бедной и неказистой. В начале 1870-х годов Соболев жил в избе вдвоем с женой, то есть «бобылем», – дети у них пошли позднее. Помимо Соболевского, при Островском в Бережках стояли всего два дома да кладбищенская сторожка, в коих разместился церковный причт. Раскрашенная изба Мураша слева – дом Никольского батюшки (он простоял до 1908 года, когда его, по ветхости, снесли и поставили новую избу, в которой ныне живет одна из основательниц щелыковского музея Наталия Константиновна Знаменская). Был священник человеком состоятельным и на участке через улицу, теперь занятом избами, устроил изрядную пасеку и, ради ублажения грешной плоти духовитым домашним пивом, хмельник, разделяемые сбегающей к Куекше тропинкой.

«Снегурочка» создавалась в 1873 году в Москве, но обдумывалась в Щелыкове, да драматург мог, конечно, и по памяти изобразить погост до мельчайших подробностей. Он не стал этого делать, ограничившись несколькими штрихами, – тут важны не топографические характеристики, а трепетные ощущения, всякий раз возникающие еще при подходе к Бережкам, когда за деревьями появлялись церковные купола и островерхие крыши погоста. Как будто и впрямь появлялись из сказки!

Супруга, Мария Васильевна, тяжелая на ногу и никуда вовремя не поспевающая, та не могла понять, что за удовольствие таскаться в Бережки пешком через овраги. То ли дело на дрожках по марковскому проселку! Там, не доезжая деревни Фомицыно, надо свернуть налево в березовый лесок, пересечь небольшое поле и выехать прямо на Никольский луг к церковной ограде. Неутомительно и недолго.

Таким путем, собственно, всегда и добирались до приходской церкви прежние владельцы Щелыкова – помещики Кутузовы, Сипягины. И Александр Николаевич его запомнил с первых поездок в Бережки с отцом, со всем выводком младших братьев и сестриц – в 1848, 1851 годах. Тогда родители с малышами усаживались в кареты, старшие взбирались на линейку, а еще закладывали старый, кутузовских времен, рыдван. Пыль столбом на дороге стояла, когда тянулся этакий кортеж.

Надежда Николаевна Островская, намного пережив брата, на старости лет тоже вспоминала этот путь. «Проселок вился между полями, над которыми неумолкаемо звенели жаворонки; бархатистым ковром расстилались озими, яровые только что всходили, но так ровно и густо».

Церковная сторожка в Николо-Бережках

Оживленный, укатанный был проселок – вел он в рассыпанные между полями и перелесками селения – старинные деревеньки с избами под соломой, с диковинными овинами и амбарами. Расчищали здесь лес и основывали их в шестнадцатом столетии после «Казанского взятия» и замирения этого лесного края первонасельники – черносошные крестьяне Пахомы и Дорофеи и, не мудрствуя, называли своими именами: Пахомцево, Марково, Фомицыно, Дорофеево, Филипцево… Вилась между деревеньками речка Куекша, стучали по ней, скапливая и поднимая воду, мельницы.

По марковскому проселку Александр Николаевич ездил в Дорофеевский лес за белыми грибами, а в Бережки предпочитал другую дорогу – более трудную, рассчитанную на пешехода, зато короче и красивее. Когда в усадьбе собирались гости, он нередко принимал соломоново решение: в Бережки вез по проселочной дороге, там отпускал лошадей назад, а домой с погоста все шли пешком, через овраг. Путь этот проторила щелыковская дворня еще при Кутузовых. Надежда Николаевна описывает и его в своей

повести «В деревне». Героине повести, маленькой Зиночке, разъясняют, как ходят из усадьбы в Бережки: «Пойдем мы, Зиночка, прямо вниз в ворота, спустимся к реке, потом берегом до Ладыгина; тут переходцы будут… поднимемся мы к деревне и пойдем верхом до самой тропки». Эта тропа, которую местные жители звали Никольской, пролегала тогда через густой сосновый лес.

Маршрут намечен предельно точно, проследовать по нему и сейчас не составит никакой трудности. Действительно, выйдя из мемориального дома и свернув сразу в ворота под «Горбатым мостиком», можно спуститься бывшим огороженным прогоном для скота и держа правее маленького пруда, на берег Куекши. Тропа тянется вдоль самого берега по краю парка. Пройдя немного вверх по течению реки, мы увидим деревянные одноэтажные строения. Это баня и прачечная, которые поставила, заводя в начале нынешнего века в западной части Щелыкова новую усадьбу, Мария Александровна Островская-Шателен. А при жизни драматурга здесь рос лиственный лес. Обогнув баню и еще деревянный двухэтажный дом, выстроенный для рабочих дома отдыха в 1950-х годах, повернем к оврагу. Глубокий и извилистый овраг похож на ущелье – склоны его поросли деревьями. Углубившись в ущелье, найдем на его левом склоне дорожку с дощатыми «переходцами», ведущую вверх в деревню Ладыгино, и по узкому проходу между плетнями поднимемся на грязноватую деревенскую улицу.

Ладыгино – старинная деревня, существовавшая, по крайней мере, с начала XVII века. Но все ближайшие селения входили в щелыковскую вотчину, а Ладыгино нет. Правда, и оно первоначально принадлежало Кутузовым, но в первые десятилетия XVIII века попало по женской линии в руки других помещиков: Кроминых, Пасынковых. При Островских деревня принадлежала никогда в ней не жившим князьям Вадбольским. Была она невелика – из 13 изб часть образовывала «порядок», а остальные стояли врассыпную на ее южной стороне, над склоном к Куекше. Ладыгинцы традиционно состояли в конфликтах с обитателями Щелыкова, а причин для них у соседей было много: ссоры за межи, потравы, порубки. Поэтому и на службу в усадьбу ладыгинских жителей никогда не нанимали, не сдавали им в аренду и щелыковских угодий. В самой деревне своей помещичьей усадьбы не было, крестьяне же находились в родстве между собой, принадлежа к коренной туземной фамилии Беликовых.

Деревенская улица упирается в широкий овраг, разделивший Ладыгино на две части. При Островских никаких строений за

оврагом не было, а сразу начинался высокий и чистый сосновый бор. Этот сосняк вырубали уже в 1940-е годы, когда на вырубке стали строить избы местные крестьяне и московские дачники: Бастыревы, Галкины, Ягодкины, Жаровы, Фураевы, Садовские и др.

Западная околица Ладыгина выходит в поле, ограниченное слева крутым обрывом над Куекшей, края и склон которого ощетинились соснами и елями, а справа окаймленное дорогой на Марково. Поле засевают попеременно то льном, то клевером, и летом оно, цветущее, очень красиво. Никольская тропка то ныряет в сосняк, прижимаясь к обрыву, то чуть остраняется от него. Затем она сваливается в последний овраг, самый огромный и, конечно же, самый живописный в окрестностях Щелыкова. Помимо хвойных деревьев, в нем много черемухи и рябины, земля выстлана мхом и папоротником. По склонам оврага и по его дну, над ручьем, торопившимся в близкую Куекшу, перекинута деревянная трехмаршевая лестница с перилами. Построили ее в пятидесятые годы для удобства шествующих в Бережки туристов. В прошлом веке овраг пересекала узкая тропинка, ступенями на спуске и подъеме служили корни деревьев, а перилами их нижние ветви, и лишь через самый ручеек был переброшен вибрирующий жердяной мосточек. Поэтому в последние годы, когда и подъемы-тягуны стали непосильны, и на неверных жердочках он не мог удержаться, Александр Николаевич вынужден был с грустью отказаться от этого пути.

Бережки уже рядом, но с лестницы их пока не видно за купой деревьев по гребню оврага, в которую с той стороны уткнулся плетень от крайнего «дома Соболева».

Дом приятеля

Всегда с радостью навещал Островский и Кудряево, и Высоково, и Сергеево, с охотой ходил в Покровское, но именно Бережки имели для него особую притягательность. Не только потому, что похоронил здесь отца. Александр Николаевич и до 1853 года прикипел сердцем к этому тихому и уединенному селению, нимало не похожему на окрестные деревни. Ивановский журналист Михаил Артамонов посетил Бережки почти через сорок лет после смерти драматурга. «Бережки – погост, – зафиксировал он. – В нем всего четыре двора: священника, дьячка, сторожа и крайний столяра и мастера по иконостасам – Ивана Ивановича Соболева». Так же все было в Бережках при

Островском, так же все и теперь, лишь в домах – их пять – живут местные крестьянки да московские актеры-дачники. В крайнем же доме ныне музей. Расположенный на околице погоста при спуске в глубокую лесистую долину, он первым встречает прохожих, эффектно начиная перспективу короткой улицы с вековыми березами и белой церковью.

Сам дом – заурядный крестьянский. Изба с крутой двускатной крышей под дранкой, с белыми резными наличниками небольших окон, совсем простенькими, естественно сливается с окружающим пейзажем. Погост стоит на высоком берегу Куекши, и от дома Соболевых спускается к реке пологий луг. Тут же внизу и колодец.

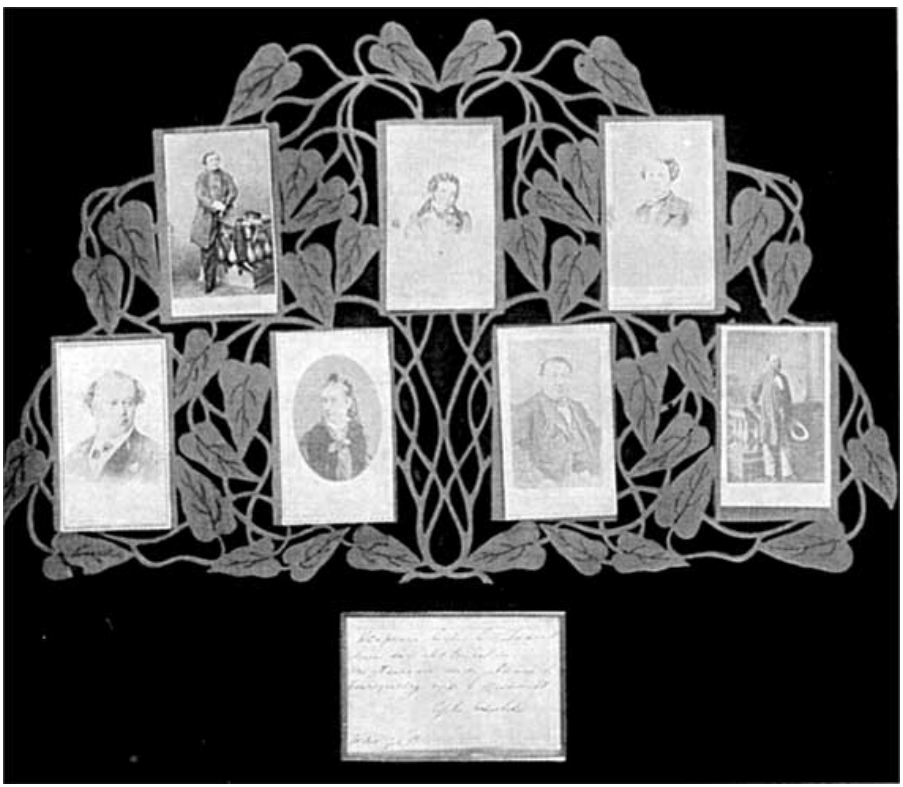
Поднимемся из оврага, пройдем мимо плетня и фасада дома, обогнем его и вступим на крылечко под навесом. Что же, типичная костромская изба: два сруба зимней и летней половин, разделенные сенями, торцовые стены которых образованы выпуском бревен сруба задней избы. Задняя стена имеет разделенную на две части подклеть, поэтому пол здесь поднят и входят в нее по лесенке из сеней. Дом строил сам хозяин, Иван Викторович Соболев, в 1870-х годах.

Здешние жители – потомки черносошных крестьян, смешавшихся с первонасельниками края – меря. Еще в мае 1848 года в первый приезд в Щелыково Островский отметил, что тут «каждая мужицкая физиономия значительна (я пошлых еще не видал)», и восторженно воскликнул: «А какой народ здесь!» 10 мая он записывает в дневник: «Я начинаю привыкать к деревне, я обошел почти все окрестности, познакомился кой с кем из мужиков…» Именно с этого времени началась дружба драматурга с доброй дюжиной местных крестьян.

С Иваном Соболевым, правда, Александр Николаевич познакомился и сошелся много позднее – тот и родился лишь в 1849 году. А их сближение началось в 1870-е годы. Драматург, возведя «гостевой» дом и устроив в нем столярную мастерскую, стал приискивать человека, который помог бы ему овладеть тонкостями столярного дела. Ему указали на молодого крестьянина-отходника Ванюшу Соболева, одинаково хорошо изготавливающего и иконостасы, и мебель. Островскому приглянулся смышленый и повидавший свет мастеровой, немного разбиравшийся даже в литературе, и, чтобы тот был поближе, он предложил столяру поселиться в Бережках. Соболеву место понравилось, и он поставил избу на краю оврага, поодаль от домов причта. Так учитель и ученик стали соседями. Перед Островским Соболев благоговел, выучил наизусть отрывки из некоторых его пьес.

Работу столяр находил в окрестных церквях, для которых вырезал иконостасы, у местных помещиков, но и Островский почти каждый год давал ему заказы – то стулья, то стол, то шкаф для усадьбы, не говоря о ремонте. Иван Викторович и сам частенько наведывался в Щелыково, обучая драматурга столярному делу и делясь с ним секретами мастерства. Ученик оказался довольно понятливым – даже письменный стол в кабинете, по преданию, собственноручно сделал, а Соболеву в благодарность за науку подарил своей работы полочки и бювар, которые долго сохранялись в бережковской избе, пока не попали в музей.

Александру Николаевичу было симпатично все семейство Соболевых: молодой, но степенный и трезвый хозяин, радушная и опрятная хозяйка, куча их малолетних и понятливых детишек. Все чаще он появлялся в гостеприимных Бережках, все чаще наведывался «на огонек» в крайний дом – отдохнуть, побеседовать. Он заметил, что столяр довольно начитан, говорит чистым народным языком. Сын Ивана Викторовича, Ванюшка, был невелик, когда Островский умер, ему исполнилось всего 12 лет, но приходы драматурга запомнил и в начале 1920-х годов рассказывал заезжему корреспонденту.



Резная рамка, выполненная руками Островского, с фотографиями актеров-друзей

«Нет-нет да и завернет Александр Николаевич, любил он гулять сюда приходить и в большой дружбе с моим папашей был. Поставит мать самовар, вынесут во двор стол да часа два-три и сидят. Отец много походил по вольному свету, рассказывать начнет, а то Александр Николаевич вынет тетрадку, станет читать. На суд, говорит, тебе приношу, верно ли, так ли изобразил? Нет ли фальши какой в простонародном выговоре?»

К детям приятеля Островский относился очень заботливо: не забывал присылать им гостинцев на Новый год, привозил и приносил подарки, поощрял дружбу своих младших детей с маленькими Соболевыми. «Я и мои сестры и братья, – вспоминала дочь Ивана Викторовича, – дневали и ночевали в Щелыкове».

Более же всех пришелся драматургу по душе сын столяра – Ваня, мальчик сметливый, любознательный, а к тому же и большой выдумщик. Позднее он унаследовал профессию отца, столярничал, работал учителем труда в Покровской школе. Неплохо рисовал – после него остались картины маслом. Уже в старости на вопросы об Островском и его отношении к семье Соболевых Иван Иванович отвечал так:

«Мой отец был специалист-резчик по дереву иконостасной части. Его работы можно и теперь увидеть в нашей церкви (киоты. – *В. Б.*) Кроме того, он делал весь ремонт мебели в усадьбе Островских и был принят там как свой человек.

Часто бывал с семьей Александр Николаевич в нашем доме. Моя мамаша угощала их медом, деревенскими колобками.

В те времена школ не было, учился я у дьякона две зимы и никак не мог одолеть трудную науку. Однажды Александр Николаевич пришел к нам (это было года за четыре до его кончины) и стал меня экзаменовать. Мало что я мог ответить или прочитать. Тогда он сказал мне: «Приходи, Ваня, в усадьбу, буду заниматься».

Александр Николаевич занимался со мной несколько раз. Иногда он был занят и тогда направлял меня к гувернантке или к дочери Марии Александровне. Они со мной занимались долго. Так что грамоте я научился по-настоящему у Островских.

Я каждый раз посещал Щелыково. Иногда Александр Николаевич рекомендовал меня своим гостям и говорил: «Это мой любимый ученик Ваня». Помню, не приготовил я урока и думаю: поставит меня в угол Александр Николаевич. В угол он меня не поставил, а спросил: «Почему ты, Ваня, не приготовил урока?» Я ответил, что виноват, прогулял. Долго Александр

Николаевич смотрел мне в глаза. Стыдно мне стало. С тех пор я всегда хорошо готовился к занятиям».

Николо-Бережки

Несколько летних занятий с Островским дали ребенку больше, чем две зимы хождения к дьячку Ивану Ивановичу Зернову, превосходному рыболову, но никакому учителю. Драматург нашел Ваню способным мальчиком и интересовался его выдумками, о которых узнавал и от своих детей. «Бегал я часто в усадьбу к его сыновьям, – вспоминал Иван Иванович, – нередко и они приходили к нам в Бережки. Катались мы на лодке, по деревьям лазили. У нас до реки рукой подать, только в овраг спуститься. У Островских своя лодка, у меня своя. Я уже тогда помогал отцу и начал столярничать, приделал к лодке колесо. Начнешь передвигать рычаг, колесо вертится – лодку несет. Приходили смотреть на нас взрослые из усадьбы, стали звать меня «Изобретатель-самоучка».

Подарил мне Александр Николаевич рожок, он и теперь у меня хранится. Такой же рожок был и у его детей. Соберутся они гулять, загудят в рожок на берегу реки. Я откликаюсь – значит, ждут».

Иван Иванович Соболев прожил в своем бережковском доме всю жизнь, а скончался он в 1949 году. В послевоенные годы, уже выйдя на пенсию, он целые дни проводил в бывшей усадьбе,

отпирал дом его немногочисленным еще посетителям, водил по опустевшим комнатам, рассказывал. Воспоминания его были не очень насыщены фактами, местами сбивчивы, но искренни, человечны. «Неоценимый был человек, как великий русский писатель и драматург, Александр Николаевич Островский, – писал Соболев в 1945 году. – В честь его памяти я работаю заведующим музеем имени Островского в Щелыкове и с любовью отношусь к делу, вспоминаю свое детство, как ходил каждый день к Александру Николаевичу на уроки». Следует уточнить, что «заведующим» Иван Иванович сделал себя сам – в музее тогда штатных сотрудников не было, а открывали его только на два-три летних месяца.

С таким же добрым чувством говорили об Островском и остальные дети Ивана Викторовича Соболева. «Я навсегда, – написала в 1948 году его дочь Мария Ивановна, – запомнила мир Александра Николаевича Островского – светлое, улыбающееся лицо добродушного, сердечного человека. И не одна я, а все, кто хоть однажды видел его, сохранили о нем самую добрую память».

На мемориальном кладбище в Николо-Бережках, перед калиткой в ограде семейного захоронения Островских, долгие годы обихаживаемого Соболевыми, есть два металлических креста с жестяными табличками. Надписи скупо поясняют, что здесь похоронены друзья драматурга – Иван Викторович и Иван Иванович Соболевы. А на краю селения по-прежнему стоит дом Соболевых, заново отреставрированный в 1973 году, – в нем сейчас развернута любопытная выставка предметов крестьянского искусства и быта нашего прошлого.

«О, дружба, это ты…»

От «дома Соболевых» узкая дорожка вдоль плетня и мостик через ущелистый овражек подводят прямо к калитке в церковной ограде. Там на тихом бережковском погосте возле белокаменного храма XVIII века и несколько в стороне от паперти, обнесенные массивной чугунной оградой, стоят в ряд три памятника – тяжелые мраморные кресты над могилами драматурга, его жены и старшей дочери. На их фоне лежащая в той же ограде, но правее, старая плита из серого полированного гранита выглядит совсем незаметной. На полметра почти приподнятая над землей и уширяющаяся в изголовье, обращенном на запад, она способна привлечь внимание не каждого, но многие все же заинтересованно склоняются над нею, силясь разобрать полустертые надписи и рисунки на ее поверхности. Сверху на

плите крупными вызолоченными буквами написано:

Николай Федорович
ОСТРОВСКИЙ
Родился в Костроме 6 мая 1796 года
Скончался в с. Щелыкове 22 февраля 1853 года.

Ниже – виньетка, потом грубовато выполненный аллегорический рисунок – обвитая плющом дубовая ветвь – и четверостишие:

Скатившись с горной высоты,
Лежал на поле дуб, перунами разбитый,
А с ним и плющ, кругом его обвитый.
О, дружба, это ты!

Что же, типичная надгробная плита с глубокомысленной сентенцией, заурядной для второй трети прошлого века, – мало ли их разбросано по старинным кладбищам. Только ведь эпитафия эта – отцу великого русского драматурга, погребенного рядом. Уже поэтому она заслуживает изучения.

И тотчас возникнут вопросы. Кто и когда установил плиту? Кем подобран текст надписи? Чье стихотворение выбито на плите? Так ли неизменно все было на могиле отца и при жизни Александра Николаевича?

Начнем с выяснения последнего вопроса – на него ответить проще. На отлитографированном рисунке художника В. П. Вопилова, исполненном летом 1886 года, самом раннем изображении погоста в Николо-Бережках, плита расположена иначе – изголовьем в сторону церковной паперти и более удалена от креста над могилой драматурга, нежели сейчас. Так что когда вокруг захоронения Александра Николаевича сделали ограду, плита оказалась за ее пределами. А по хранящимся в щелыковском музее фотографиям можно уточнить, что плиту перенесли внутрь ограды и развернули на девяносто градусов в начале нашего века, когда устанавливали памятники вдове и дочери драматурга. Тогда же под плиту подвели цементную подушку.

Теперь – кто же ставил на могиле плиту? Сын? Вспомним, что Александр Николаевич, узнав о тяжелой болезни отца, приехал в Щелыково после двухлетнего перерыва и попал только на похороны. И через несколько дней уехал в Кострому из усадьбы, доставшейся в наследство мачехе и сводным братьям и сестрам.

А памятники умершим обычно ставят именно их наследники.

Мачеха жила в Щелыкове, а драматург в 50-е годы бывал там редко, наезжая на короткое время в 1855 и 1857 годах. Да и едва ли входящий в славу Островский выбрал бы для эпитафии надпись, в которой сравнивал себя со сброшенным на землю плющом – современники не замечали в нем склонности к самоуничижению. Скорее это удел вдовы.

Эмилия Андреевна… Островсковеды написали немало всякого об этой очень скромной женщине, именуя ее и аристократкой шведского происхождения, и знатной баронессой, и ревнительницей дворянского этикета, который она якобы насаждала в разночинской семье. Какая уж там «баронесса»! Дочь мелкого и нуждающегося чиновника Андрея Ивановича Тессина родом из эстляндских купцов, младшая сестра незадачливого адвоката, зависимого в делах от Н. Ф. Островского, далеко не красавица и бесприданница, она была выдана замуж восемнадцати лет. А сговорена – согласия ее никто не спрашивал – в пятнадцать. Став супругой сорокалетнего вдовца с кучей детей разного возраста – старшие почти ее ровесники! – она сумела заменить им мать, сама родила девятерых, вела громоздкое хозяйство, а потом по воле властного мужа безропотно перебралась из Москвы в глухое Щелыково, где, приняв последний вздох Николая Федоровича, пережила его на 45 лет. Сердобольная, отзывчивая, с ровным характером, она пользовалась большим уважением и доверием своего великого пасынка. Эмилия Андреевна была начитанна, любила литературу и смогла бы подобрать для эпитафии выразительное и законченное четверостишие. А кто его автор? В щелыковском музее об этом данных не было. Поиски же, как ни странно, первоначально привели в Пушкинский музей-заповедник. У его многолетнего директора Семена Степановича Гейченко есть не раз переиздававшаяся книга «У лукоморья» с рассказом «Пушкин устраивает свой кабинет». В рассказе повествуется, как опальный поэт, оставшись один на зиму в Михайловском, выбирает комнату для жилья, снося в нее из неотапливаемых помещений нужные вещи и перебирая семейные реликвии:

«А это – старенький альбом с оторванными бронзовыми петельками, перевязанный розовой ленточкой. Раскрыл. Стал листать. На первой странице нарисован венок из незабудок и якорь – символ надежды. Под ним старательно выведенная рукой отца надпись: «Ангелу души моей несравненной Надиньке от верного и нелицемерного супруга. Июля 1801 года». Дальше шли стишки, стихи и стишищи. Улыбнулся: «Верный и нелицемерный… хм, хм!!»

А все-таки как здорово получается – все Пушкины, вся

фамилия – поэты! Отец, мать, брат, сестра, дядя один, дядя другой и сам Александр Сергеевич Пушкин. Поэтическая семейка. Поэтическая деревенька. Сплошной Парнас!

Надежда, Надежда, мой сладкий удел,
Куда ты, мой ангел, куда улетел?

И еще:

Сраженный бурей роковой,
На прахе дуб лежит, перунами разбитый,
С ним гибкий плющ, его обвитый,
О, дружба, это образ твой!

Ах, тятенька, ах, Сергей Львович, душа поэтическая, сколько ты бумаги намарал!»

Безусловно, в альбоме то же стихотворение, что и вырезанное на плите в Бережках. Просто налицо разные варианты. Но едва ли Сергея Львовича Пушкина, рядового дилетанта в поэзии, можно счесть автором четверостишия. Ведь это далеко не «бумагомарание» – в немногих строчках звучит истинная поэзия.

Кто же все-таки написал текст эпитафии? Пришлось обратиться к первоисточникам. Поиски, к счастью, не затянулись. В ряде изданий В. А. Жуковского опубликовано стихотворение «Дружба»:

Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый…
О, дружба, это ты!

Стихотворение написано Жуковским в юности, в 1805 году, и везде значится как оригинальное. Однако вариант, помещенный в пушкинском альбоме, появился несколькими годами раньше. Следовательно, В. А. Жуковский, прекрасный поэт, мягко говоря, у кого-то позаимствовал «Дружбу»? Но это более чем сомнительно. Остается единственный вывод – речь идет о переводе: вероятнее всего, Василий Андреевич знал о варианте, вписанном в альбом Пушкиных, и просто улучшал его.

Это предположение вскоре полностью подтвердилось. В выпущенном в 1977 г. издательством «Книга» третьем выпуске «Альманаха библиофила» в статье В. Лобанова «О библиотеке

В. А. Жуковского» говорится:

«В «Поэтических опытах» Готлиба Конрада Пфеффеля (8 томов, Тюбинген, 1802–1805) на многих страницах Жуковским записаны черновые переводы стихотворений Пфеффеля, которые в изданиях стихотворений Жуковского фигурируют как оригинальные. Например, во втором томе на с. 180 находим перевод пфеффелевского «Плюща». Это знаменитая «Дружба» (следует текст. – *В. Б.*).

Теперь все встает на свои места. Напечатанный в 1802 году в сборнике стихов Пфеффеля «Плющ» вскоре был переведен на русский язык сразу двумя поэтами. Один перевод разошелся по альбомам, другой был опубликован. В 1810-е годы Жуковский был исключительно популярен, и его творчество оказало, по-видимому, сильное влияние на формирование литературных вкусов молодого Николая Федоровича Островского, тогда студента Московской духовной академии. Эмилия Андреевна, знавшая об этой привязанности, и сама, возможно, под действием мужа часто обращавшаяся к стихам Жуковского, решила поэтому поместить «Дружбу» в качестве надписи на могильной плите. Изменения в тексте сделали самые минимальные: слово «прах» по смыслу заменено на «поле» да выброшено определение «гибкий» – несвойственное зрелому возрасту матери многих детей. Для подобной коррективы не требовалось, пожалуй, прибегать к помощи Александра Николаевича – ее была способна внести и сама вдова.

Подведем некоторые итоги. На могильной плите Н. Ф. Островского в качестве эпитафии использовано короткое аллегорическое стихотворение малоизвестного

Александръ Николаевичъ
Островскій
родился 31 Мая 1823 года
скончался 2 Іюня 1886 года

Могила А. Н. Островского на бережковском погосте

в России немецкого поэта Г. К. Пфеффеля в превосходном раннем переводе В. А. Жуковского, любимое в семье Островских и выражающее чувство скорбящей вдовы. Александр Николаевич, приходя на могилу отца, много раз перечитывал его и, конечно, помнил это четверостишие наизусть. И сейчас тысячи людей, ежегодно посещающих бережковский погост, наклоняются над старой плитой, читают выразительную эпитафию, иные переписывают ее в свои блокноты.

Ярилина долина

Мало ли в окрестностях Щелыкова живописных лужаек и полян! Наверное, не счесть. Однако все туристы, и впервые попавшие в заповедник, и приезжающие сюда ежегодно, полагают долгом чести заглянуть в Ярилину долину, побывать «у Снегурочки».

Добраться с дороги до долины совсем легко. От самой плотины через Куекшу начинается торная тропинка. Она то жмется к правому берегу реки, то отступает от него и сворачивает в глубь леса, петляя там между елями и соснами или юркая в малинник. Где-то через полкилометра тропка неожиданно выскальзывает на широкую кулигу – поляну, окаймленную деревьями, – ближе лес смешанный, невысокий, а на дальнем конце поднимается настоящая рамень.

Много вокруг Щелыкова красивых полян, но эта какая-то заговоренная, таинственная, сказочная. Возможно, ощущению таинственности способствует постоянный контраст света и тени. Солнце никогда не озаряет поляну целиком – оно то высвечивает очень эффектно вершины ближних елок, то теряется в курчавой поросли ольшаника.

К концу весны устилает Ярилину долину зеленый травяной ковер с узором из луговых цветов, которых высыпает особенно много в мае – начале июня. Недаром Весна, прощаясь в Ярилиной долине с дочерью Снегурочкой, указывает ей именно на окружившие ее цветы:

Смотри, дитя, какое сочетанье
Цветов и трав, какие переливы
Цветной игры и запахов приятных!
Один цветок, который ни возьми,
Души твоей дремоту пробуждая,
Зажжет в тебе одно из новых чувств…

И вправду, часто вид цветущей Ярилиной долины пробуждает «дремоту души» туриста-горожанина, смотрящего поначалу на поездку в Щелыково как на очередное «культурное мероприятие».

Но разве есть веские доказательства, подтверждающие, что последнее свидание Снегурочки с Весной драматург Островский подглядел здесь, на этой поляне?

Обратимся к первоисточнику. В четвертом действии весенней сказки «Снегурочка» имеется точное описание места встречи.

«Ярилина долина: слева (от зрителей) отлогая покатость, покрытая невысокими кустами, справа – сплошной лес, в глубине озеро, поросшее осокой и водяными растениями с роскошными цветами, по берегам цветущие кусты с повисшими над водой ветлами».

Если мы, подменив зрителей, подойдем по тропинке от плотины и приостановимся при входе в долину, то увидим нечто очень похожее на данное описание – сплошной лес справа, отлогую покатость слева, покрытую невысокими «елохами», за которыми скорее угадывается, нежели просматривается Куекша. Озера в глубине, правда, нет, но мало ли таких озер образуется в каждое весеннее половодье на берегах Куекши и Сендеги – вода в этих озерцах действительно покрывается осокой и роскошными желтыми цветами, именуемыми куреслепом. В разгар лета озерца постепенно высыхают. Над ними склоняются кусты черемухи и калины, цветущие в мае – июне.

Пусть нет в глубине озерца, зато есть иное. В правой дальней стороне долины виднеется шестигранный бревенчатый сруб, чуть приподнятый над землей и полуокруженный несколькими деревьями. Это знаменитый Голубой, или Святой, ключик. Из ключика выбегает и теряется в лесу узкий ручеек.

До Островского ключик называли в народе «Святым». О происхождении названия говорит известное и драматургу древнее предание. В XV или XVI веке поселился якобы в Ярилиной долине старичок-монах и срубил здесь, в лесной глуши, деревянную шестигранную часовню-келию, в которой и жил отшельником. Но набрел на это уединенное жилье отряд хищных казанских татар, совершающих набег на окраинную Русь. Кинулись алчные враги к часовне, надеясь поживиться приношениями окрестных жителей, но тотчас ушла она под землю, а на поверхности образовался водоем. В этом предании, прозрачно перекликающемся со Сказанием о граде Китеже и с Житием Макария Унженского, преломились исторические реалии: и татарские орды в щелыковских местах некогда рыскали, и часовни в лесной тиши возводились, и даже случалось изредка, что погружались такие постройки в болотистую почву.

Голубой ключик, где, по преданию, растаяла Снегурочка

Со времен языческой «Снегурочки» ключик все чаще стали именовать «Голубым». Возможно, потому, что вода его имеет голубоватый оттенок, хотя дно водоема, кстати, довольно глубокого, устлано, под амальгамой ила, белым кварцевым песком. Вода довольно вкусная, слабоминеральная, а ключик не замерзает и в самые сильные морозы. Он чист и прозрачен, время от времени на дне его начинают бить, шевеля песок, роднички. Бьют они нерегулярно, и заставшие эту пульсацию могут почесть себя счастливцами. Потому что у них на глазах билось сердце Снегурочки. Трудно установить, то ли Александр Николаевич сам придумал, то ли переосмыслил и зафиксировал уже существующее предание. А оно гласит, что на месте ключика растаяла под лучами гневного Солнца – Ярилы – красивая девочка Снегурочка и появился водоем, на дне которого колотится ее полюбившее людей сердце. В последнем предании уже нет исторической основы, зато оно на редкость трогательно и поэтично.

Теперь о самом названии «Ярилина долина». Дело в том, что в официальных документах до конца XIX в. это место никогда Ярилиной долиной или поляной не называлось, а всегда именовалось «Ключевым логом». Принадлежал он самому А. Н. Островскому. Следовательно, можно заключить, что долина стала называться «Ярилиной» спустя некоторое время после

опубликования весенней сказки «Снегурочка», т. е. что переименовал ее сам Островский? Однако такой вывод был бы слишком поспешным. Истоки названия, оказывается, уходят в глубь веков.

Ярило – имя славянского божества и одновременно название весеннего праздника. С «Яриловками» яростно боролась церковь, о них в середине XVIII века Тихон Задонский писал, что «из всех обстоятельств праздника сего видно, что древний некакий был идол, называемый именем Ярилы, который в сих странах за бога почитаем был, пока еще не было христианского благочестия, а иные праздник сей называют игрищем». Имеется описание праздника у белорусов: собирались девушки, выбирали из своей среды одну, наряжали в белое, на голову клали венок, в правую руку давали череп (символ «побежденной зимы»), в левую – пучок ржаных колосьев (символ «плодородия земли»), сажали на белого коня («юный всадник» – бог солнечного света), а сами становились вокруг и пели песни в честь Ярилы. Нечто подобное происходило и в центральной России. Островский в «Снегурочке» изображает Ярилу «в виде молодого парня в белой одежде, в правой руке светящаяся голова человеческая, в левой – ржаной сноп».

О костромских «Яриловках», их исторических корнях драматургу много рассказывал дядя, краевед и историк Павел Федорович Островский, а в первые наезды в Щелыково ему и самому доводилось наблюдать праздники Ярилы в окрестностях усадьбы и, возможно, в Кинешме. Там они приурочивались к Всехсвятскому заговению, устраивались в роще на Кинешемке и сопровождались обрядами и играми. Ярилины гулянья в Кинешемском уезде прекратились только с середины XIX века, память же о них сохранялась и позднее. «Воскресенье (Ярилин день)», – отметил драматург в дневнике 11 июня 1867 года. Может быть, понаблюдав в этот раз веселый народный праздник, он и решил приступить к написанию весенней сказки «Снегурочка». «Пьесы я задумал две, – сообщает он вскоре жене, – не знаю, за которую прежде примусь (вторая – сказка «Иван-царевич». – *В. Б.*), но во всяком случае в деревне одну какую-нибудь кончу».

На Ключевой лог Александр Николаевич ходил часто, а Ярилин день никогда не пропускал. Его там интересовало все: обряды, хороводы, песни. «Если мы желаем сделать что-нибудь хорошее для народа, – сказал он как-то своему знакомому, – то не должны чуждаться его веры и обычаев, не то не поймем его, да и он нас не поймет». А где же было и узнавать эти обычаи, если не на древнем крестьянском празднике Ярилы! Во времена

Островского гуляние в долине происходило в Троицын день. К ключику сходились толпы жителей со всей округи, съезжались торговцы с возами. Водили хороводы, жгли костры, пели песни. Отголоски этого народного действа чувствуются в «Снегурочке». Да и только ли в «Снегурочке? В Щелыкове вскоре после весенней сказки писалась пьеса «Волки и овцы», тоже насыщенная местными мотивами. В ней встречаются многозначительные диалоги между местной помещицей Купавиной и ее соседями Мурзавецкой и Лыняевым:

«Мурзавецкая. У вас тут храмовый праздник неподалеку, а ты, чай, не знаешь?

Купавина. Как не знать! На моем лугу гулянье бывает».

Напомним, что и Островский мог сказать, что гулянье в Троицын день («Яриловка») бывает на его лугу.

И далее:

«Купавина. Я хочу народное гуляние смотреть.

Лыняев. Не ходите! Что за удовольствие идти за две версты, да еще по горам, чтоб смотреть на пьяных.

Купавина. Скажите лучше, что вам лень! Оставайтесь!

Лыняев. Я бы пошел, но там, вероятно, ваши люди гуляют, мы их только стесним. Зачем расстраивать чужое веселье!

Купавина. Мы издали посмотрим, с горы».

От Щелыкова до Ярилиной долины на самом деле не более версты, но обратно приходится подниматься на довольно крутую гору, что было, действительно, тяжело для страдающего болезнью ног и одышкой Островского. Но это его не останавливало. Доводы, которые приводит Лыняев, ему и самому, несомненно, не раз приходилось выслушивать от соседей. Однако драматург не опасался, что своим присутствием стеснит гуляющих крестьян: они давно привыкли к нему и полюбили его.

Официально обозначаемая в бумагах Ключевым логом, просторная поляна на правом берегу Куекши ниже мельницы Тарасихи издревле в народе прозывалась «Ярилиной долиной» или «Ярилиной поляной», что было чутко подслушано Островским. С тех пор первое из названий быстро исчезло, а второе как бы получило права гражданства. Народные же гуляния в долине, конечно, уже без торжественного явления Ярилы, а просто с играми и хороводами, устраивались до 1940-х годов. О них до сих пор увлеченно рассказывают местные старожилы.

Сейчас значительная часть Ярилиной долины заросла

кустарником, подступившим к самому ключику, сузилась и обмелела огибавшая ее Куекша. Но всякий, пришедший к Голубому ключику, особенно в пору цветения в конце весны, когда здесь растаяла Снегурочка, невольно вспомнит и повторит про себя ли, вслух ли своим спутникам проникновенные слова зоркого Берендея:

Полна чудес могучая природа!
Дары свои обильно рассыпая,
Причудливо она играет: бросит
В болотинке, в забытом уголке
Под кустиком, цветок весны жемчужный,
Задумчиво склоненный ландыш, брызнет
На белизну его холодной пылью
Серебряной росы, – и дышит цветик
Неуловимым запахом весны,
Прельщая взор и обонянье…

У въезда в Щелыково

Не ведаю, запоминается ли туристам въезд в Щелыковский заповедник – не каменные тумбы-пилоны у повертки с большака, а метров через четыреста от них: справа от дороги изба с дворовым строением и огородом спереди на фоне смешанного леса, слева – поляна, окаймленная тем же лесом, прямо – тесовый забор и шлагбаум через дорогу. Что это – деревенька или кордон? На вид скорее все-таки деревенька, хотя из одной всего избы. Зато с двумя громкими именами – Новая деревня и Кутузовка.

Вспоминается пьеса А. Н. Островского «На бойком месте». «Я на сдачу взял от Покровского до Новой деревни», – объясняет там ямщик Разоренный. Что же, название драматургу примелькалось, так как, живя в Щелыкове, он почти ежедневно бывал в этом селении (кстати, ему же и принадлежавшем и отстоящем от самой усадьбы на версту) – проезжая мимо на Порнышскую мельницу или в Высоково, возвращаясь из Кинешмы, совершая «для здоровья» прогулки до Твердова, просто идучи по грибы и чернику в Угольской лес. А соединение в пьесе именно Покровского и Новой деревни имеет подоплеку, которую поймет лишь хорошо знакомый со здешней местностью: между названными селениями напрямик, по тропкам, всего четыре версты, а на лошадях, по дороге, – все тринадцать…

И всегда Новая деревня была столь же крохотной, как и сейчас? Пожалуй, да. Правда, знала деревня и период расцвета, когда целых четыре избы стояло да еще, за дорогой, лесопилка и гараж. Однако было это недавно – лет сорок назад, в эпоху дома отдыха Малого театра. А в изданном списке населенных мест Костромской губернии 1871 года, то есть во времена Островского, значилось в Новой деревне всего два дома.

Не сомневаюсь, что Александр Николаевич, при своей всегдашней любознательности, еще в первый свой приезд в 1848 году в Щелыково выяснил происхождение названия ближней деревни. Ну, Кутузовка – это вовсе легко: до Островских здешними землями владели знатные дворяне Кутузовы. А Новая деревня? В старинных межевых документах и планах да, по традиции, и при Островском еще, местность вокруг деревни именуется Калиновской пустошью. Сюда в середине XVIII века перевезли Кутузовы из своей родовой вотчины в Казанской губернии несколько семейств крепостных крестьян. Так появилась Новая деревня (старая – Щелыково, где тогда стояли и крестьянские дворы). Но переселенцы как-то не прижились в щелыковской округе – починок хирел и умалялся.

Нынешняя изба в Кутузовке – недавней постройки 1950 года – не пригодившаяся Малому театру дача. А незадолго перед тем, как ее привезти и поставить, сломали тут две старых избы, в которые не раз захаживал сам Островский и в которых до последней войны жили два его современника и знакомца – старики Василий Куликов и Христофор Стрик, бывший щелыковский садовник.

В щелыковских фондах есть уникальный снимок, сделанный в свое время директором музея Малого театра Владимиром Александровичем Маслихом и навевающий щемящее чувство. На фотографии фасад старинной деревенской избы, снятой как бы наискосок, с угла. Изба из очень толстых, потрескавшихся от старости бревен, вся в заплатах из досок. По центру окно с немудреным наличником под козырьком, левее волоковое оконце – оба окна прорублены высоко над землей. Через весь фасад провисает закрепленный на выступах угловых бревен шест – на таких сушили белье.

На завалинке дома ближе к левому углу сидит ветхий дед: жидкая седая шевелюра венчиком, клок волос упал на большую залысину, глаза на солнце прищурены, рот полуоткрыт. Не очень пышная, но до ушей борода подстрижена полукругом. Чувствуется, что на дворе теплынь, лето – пожухлая трава, а старик одет в наглухо застегнутую посконную рубаху до колен и с подпояской, на ногах – подшитые валенки. По правую руку лежит на завалинке шапка, несомненно, только что снятая с головы из почтения к фотографу. Дед, видно, хорошо потрудился на своем веку – его скрюченные руки неспокойно подрагивают на коленях.

Великолепная эта фотография – ее не раз репродуцировали в центральной печати – датируется 1938 годом. Сделана она в Новой деревне, и запечатлен на ней здешний старожил Василий Андреевич Куликов.

В то время дедушке Василию было уже под восемьдесят. Александра Николаевича Островского помнил он явственно. Года за три до этого зашел к Куликову ивановский журналист Николай Янков – принадлежало тогда Щелыково к Ивановской области. Старик в ту пору еще работал – пас скотину. «Вблизи реки, – описывает Янков, – небольшая полянка. На толстом коротком пне, утопающем в сочной траве, сидит человек. Вблизи пасутся коровы. Человек, опершись на палку, прищурился – из-под картуза торчат редкие волокна седых волос. Это Василий Андреевич Куликов из Кутузовки, находящейся в полуверсте от Щелыкова. Ему 76 лет, и он хорошо помнит великого драматурга, ибо всю жизнь прожил в родной деревне».

Разговорились. Корреспондент перевел беседу на Островских

– как-де они тут себя вели, как обращались с народом. Лесом-то вокруг Островские владели – не прижимали ли мужиков?

– Пожалуй, строго наказывали за порубку?

Василий Андреевич отрицательно покачал головой.

– Да, как сказать, за Островскими этого не водилось. Сам-то барин был добрый, с мужиками ласков. Вот разве Марья Васильевна – супруга его – так та тут всеми делами командовала. Покричит, бывало, постращает, а уж лесом-то барским мы все же пользовались, без дров не сиживали…

Рассказы древнего старца были самые бесхитростные. «С дедом Василием, – передает В. А. Маслих, – мне посчастливилось встретиться в Новой деревне. Он хорошо помнил, как вместе с отцом бегал в усадьбу. «И если Александр Николаевич бывал дома, выйдет, бывало, на крыльцо, отцу указания даст, а меня к себе подзовет, по голове потреплет и спросит, как живу и учусь ли грамоте. И так, бывало, наставительно скажет: «Учись, Вася, учись». А в праздники давал нам сладости».

Старый крестьянин, конечно, знал, что хозяин Щелыкова был писателем, гордился этим, но по своей малограмотности его пьес не читал и постановок не видел. Зато о жизни Островских в Щелыкове он мог рассказывать множество подробностей – было Куликову уже за двадцать, когда скончался драматург, а проработал он на щелыковской усадьбе с малолетства всю жизнь. И ведь сколько он слышал от отца!

Куликовы обитали в Кутузовке на протяжении ряда поколений, вполне вероятно, даже с момента основания деревни. Их знала вся округа. Но особо звонкую, хотя и своеобразную популярность завоевал себе родитель Василия Андреевича – Андрей Кузьмич Куликов, долголетний работник на все руки в щелыковской усадьбе.

Островский с ним свел знакомство, очевидно, еще в первый приезд в Щелыково. Тогда он отметил в дневнике: «… познакомился кой с кем из мужиков, видел крестьянский праздник. И все это хорошо». Ни один праздник тогда не обходился без Андрея Куликова, и там-то драматург и оценил оригинальный талант молодого кутузовского крестьянина – его неиссякаемое остроумие, умение вышутить любого «не в бровь, а в глаз».

Андрей Кузьмич принадлежал к числу приметных в народе остряков и весельчаков, своими выходками поражающих всю волость. Окрестные жители звали его не иначе как «чудачок», «чудила» и «шут Балакирев». И, надо сказать, что от соленых и метких прибауток и насмешек «чудилы» не был застрахован никто, даже гордая и вспыльчивая жена драматурга Мария

Васильевна, которую вообще в усадьбе побаивались и старались не задевать. Но наблюдательный Андрей Кузьмич умел вроде бы невзначай и походя язвительно высмеять неумные выходки и женские слабости своей суровой хозяйки.

А. Н. Островский. 1860-е годы

Он издавна работал в Щелыкове – при прежних уже владельцах. Профессии, прямо полезной в усадебном хозяйстве, старший Куликов не имел, человек он был неурядливый, пригодный разве что «на подхват». Использовали его на всяких черных работах и в качестве порученца.

Островского Андрей Кузьмич, по-видимому, почитал. Он первым приветствовал его на границе усадьбы в весенние приезды в Щелыково, готовно, пусть и не всегда толково, выполнял его поручения. Сближала их и общая страсть к рыбной ловле.

Дед Василий вспоминал: «По осени отец мой на реке жерлицы на ночь ставил. Стемнеет, бывало, он и уходит, и я за ним бегу лягушек на крючки цеплять. В ямах под корягами налимы водились, мы их и ловили. Вот так раз ставим мы снасти, смотрим, лодка по течению плывет, на носу смольник горит. Подъезжает ближе, видим, стоит в лодке Александр Николаевич и в реку острогу держит – рыбу бьет. Охота эта большой сноровки требует. А на другой день пришел к нам в деревню и просит отца, не продаст ли он ему налимов. Отец только посмеялся, выбрал самого крупного и отдал Александру Николаевичу, а чтоб денег за это брать, отец и слышать не хотел. Не могу, говорит, такой грех на душу взять. Помогал нам много Александр Николаевич».

Много помогал и, ценя сочный юмор местного чудака, добродушно прощал его пагубную слабость. А такая слабость у Куликова была – он питал излишнюю склонность к горячительным напиткам. Во хмелю становился Андрей Кузьмич несколько суетен, неспокоен и самонадеян – колотил себя в грудь и покрикивал: «Я – царь Парарым!» Может быть, не стоило бы помнить об этом, ежели бы не одно письмо Островского…

Андрей Кузьмич употреблялся в Щелыкове как посыльный, носил письма на почтовую станцию в Адищево, а срочные и важные отправления за семнадцать верст в Кинешму. Однако в исполнении поручений, не умея устоять перед соблазнами, бывал он не всегда добросовестен. Так, 9 июня 1879 года Островский извещал своего приятеля Федора Бурдина, который недоумевал по поводу долгого отсутствия писем из Щелыкова: «Наш посланный по случаю праздника (Всех святых) не довольно отчетливо исполнил возложенное на него поручение, утратив всю корреспонденцию вместе с собственными сапогами и кафтаном».

В пачке потерянных хмельным «царем Парарымом» писем находились и важные деловые бумаги – казалось бы, для драматурга естественно распалиться гневом. А он снисходительно подтрунивает над происшествием. Наверняка провинившийся Андрей Кузьмич постарался изложить

прискорбный факт с присущим ему юмором, чем сумел развеселить Островского.

Умер Андрей Кузьмич в почтенной старости, намного пережив драматурга, скончался в последнюю войну и его сын, развалилась старая изба. Но уцелела все-таки сама крохотная Кутузовка, встречающая туристов на границе заповедника, хранится в музее и умиляет нас чудесная фотография, опубликовано и прокомментировано письмо А. Н. Островского с упоминанием о кутузовском веселом чудаке. И есть еще строчка про Новую деревню в замечательной пьесе Островского «На бойком месте».

Пруд с островком и мостиком, где любил рыбачить Островский

На бойком месте

Честное слово, озадачило меня это «бойкое место». Когда бы я ни ехал из Костромы и Кинешмы в Щелыково – с туристами ли, на рейсовом автобусе, просто с попутчиками в легковой машине, обязательно кто-то уверенно и торжествующе ткнет пальцем в сторону от дороги, в скопление елок, в чахлый ольшаник, в ближнюю прогалину:

– Вот здесь стоял трактир «На бойком месте». Помните у Островского?!

И что интересно – самые разные места показывают. Чаще всего у крутого спуска на мост через Меру у Малого Березова, на развилке к Александровской и Адищевской фабрикам, за мостом близ села Угольское и, наконец, у повертки на Щелыково, но ближе к Кинешме.

Наслушавшись всяких историй про место, где стоял пресловутый трактир, я, разозлясь, решил заняться собственными розысками, однако, так сказать, уже на научной основе, дабы не умножать число версий, а свести их все к общему знаменателю.

Если уж танцевать, так от печки, то бишь от текста самой пьесы. Комедия «На бойком месте» опубликована в четвертом томе сочинений А. Н. Островского. В самом начале ее читаем: «Действие происходит на большой дороге, среди леса, на постоялом дворе под названием «На бойком месте». А в числе главных персонажей фигурирует «Вукол Ермолаев Бессудный, содержатель постоялого двора на большой проезжей дороге».

И ничего более точного. Да, право, где доказательства, что пьеса писалась на местном материале, что знаменитый постоялый двор, если он вообще был, находился поблизости от Щелыкова?

Во-первых, что это за «большая проезжая дорога»? Нынешнее шоссе Заволжск – Островское? Не много ли ему чести так именоваться!

И все-таки именно это шоссе. Тут, правда, Федот, да не тот. Во времена Островского здесь пролегал так называемый Галичский торговый тракт с вольными почтовыми станциями, с ямской гоньбой и иными атрибутами большой магистрали. В том числе с трактирами и постоялыми дворами. Потому что, как сказано в «Военно-статистическом описании Российской империи», «грунт земли по описанной дороге большей частью иловатый и песчано-глинистый, а по реке Мере глинистый». Вроде бы и близко от Кинешмы, но в период дождей на проезд тратились едва ли не сутки. Особенно устрашала ездоков перехлестнутая грязью 14-я верста. Сколько на этой проклятой

версте экипажей сломалось!

Во-вторых, лес. Чего-чего, а лесу в окрестностях Щелыкова с избытком. В пьесе говорится «лес-то на 20 верст». Наверно, Островский имел в виду Угольской бор – главный лесной массив в здешних местах, доходивший прежде до нынешнего почти Заволжска. В бору и вправду «пошаливали» – в Щелыкове до сих пор сохраняются предания о грабежах и разбоях. Глухие были места. Ведь одни названия урочищ и чащоб чего стоили! В нескольких километрах от Щелыкова между деревнями Хвостово и Зубцово есть густой лес, почти у дороги, именуемый «Настасьин куст», – сколько с ним связано легенд самого жуткого свойства.

Про «Настасьин куст» я вспомнил недаром, и вот по какому поводу. Многим известно имя искусствоведа Михаила Порфирьевича Сокольникова. В молодости жил он в Иванове и был любознательным и шустрым краеведом. В 1923 году отмечалось столетие со дня рождения А. Н. Островского. От Иванова до Щелыкова недалеко, и Сокольников не утерпел – навестил усадьбу. Драматурга в Щелыкове тогда помнили еще многие – всего 37 лет минуло со дня его смерти. Михаила Порфирьевича направили и в село Адищево, где жила Мария Гавриловна Вишневская-Олихова, в доме родителей которой постоянно бывал Островский. Старушка находилась в твердой памяти и охотно отвечала на вопросы.

– А, скажите, вам ничего не известно, что из здешних мест изобразил Островский в своих пьесах? Может быть, он вывел тогдашних помещиков, крестьян, знакомых вам?

– На это трудно ответить. По всей вероятности, он многое описывал из здешнего (я теперь уже не все помню его пьесы). Вот вы по тракту на Угольское шли (от Кинешмы. – *В. Б.*): не доходя до него, пересекают тракт две дороги – так тут прежде кабак стоял. Это я Вам наверное скажу, что Островский изобразил этот кабак в комедии «На бойком месте». Тут, действительно, раньше было бойкое место. Здесь помнят о Бессудном – это был разбойный Михайло Титов… Сторона наша дремучая, помню, леса-то на семь верст тянулись непрерывно.

Я процитировал всего одно место из очерка Сокольникова «В усадьбе Островского», опубликованного в 1923 году в ивановском юбилейном сборнике. Содержание его свидетельствует, что Олихова рассказывала только то, что хорошо знала. Уточним, где же, по ее словам, находился кабак. Не доходя до Угольского, где большак пересекают два проселка. Это могут быть лишь дороги на Твердово и Щелыково. Значит, Олихова указывает, что постоялый двор находился здесь. В нескольких всего километрах от вышеупомянутого Настасьина куста с его легендами. Да ведь и

Бессудный грабил проезжающих не у самого постоялого двора, а подальше от него.

Село Угольское

Но единственное указание может быть и ошибочным, желательны дополнительные подтверждения. Где их искать? Разумеется, прежде всего в архиве музея. И я вскоре обнаружил там листок, исписанный аккуратным почерком. Это нечто среднее между отрывком из воспоминаний и письмом. Написал его Василий Васильевич Постников, в 20-е годы один из хозяйственных руководителей Малого театра. Когда зимой 1927 года Наркомпрос предложил Малому театру взять в свое ведение Щелыково, то решать вопрос на месте был послан Постников, который всесторонне обследовал состояние усадьбы. Позднее он изложил впечатления от этой поездки в записке к своему знакомому, собиравшему материалы по истории Малого театра. Потом данный листок вместе со всем собранием скончавшегося коллекционера приобрел Щелыковский музей. Запись небольшая, но довольно любопытная и важная как свидетельство очевидца:

«Морозным февральским утром 1927 года мы с Федором Александровичем Трусовым (тоже сотрудником Малого театра. – *В. Б.*) вышли на вокзале Кинешмы, разыскали управляющего тогда усадьбой Щелыково Якова Андреевича Беликова и затрусили на санках через Волгу по очаровательной дорожке, слушая рассказы Беликова о судьбах усадьбы за последние годы. Подъезжая к свертку с шоссе, версты за две до него, Беликов указал нам место, где, по преданию, был постоялый двор «На бойком месте». То же предание гласило, что типом для барина, ездившего к жене

Бессудного, был в действительности местный телеграфист или почтовый чиновник. В то время шоссе не было, а дорога была такова, что весной и осенью, а подчас и летом, 15 верст до Кинешмы делали за день, выезжая чуть ли не на рассвете и подъезжая к Бойкому месту затемно. Особенно тяжела была 13-я верста, где ломались самые крепкие оси».

Беликов был из коренных местных крестьян. Все предания он слышал от деда и отца, современников Островского. Беликов едва ли читал пьесу драматурга и, тем более, вряд ли видел ее на сцене. Постоялый двор существовал для него независимо от этого, он помнил, что здесь когда-то совершались разбои и что приезжие актеры и писатели всегда просят показать местонахождение этого двора. И Беликов показал его точно – не доезжая до повертки на Щелыково, слева от дороги, если ехать от Кинешмы.

Таким образом, два свидетельства совпали почти полностью – Олиховой, слышавшей о постоялом дворе либо от самого Островского, либо от кого-то из его ближайшего окружения, и Беликова, знавшего о нем от крестьян-старожилов. Олихова помнила Титова, увековеченного в Бессудном, Беликов – телеграфиста, трансформировавшегося в барина Миловидова. Кстати, Островский хорошо знал почтовый мир Кинешемского уезда, будучи приятелем местного почтмейстера Промптова.

Есть и третье свидетельство журналиста Николая Янкова, посетившего Щелыково в 1936 году. Касаясь комедии «На бойком месте», он писал: «Старики указывают, что кабак (корчма), о котором упоминается в пьесе, находился неподалеку от села Угольского. Нынче на этом месте стоит полуразвалившаяся курная изба».

Но, тем не менее, все показания устные. Причем в одних упоминается кабак, в других – постоялый двор, что не совсем одно и то же. Неужели не сохранилось официальных документов, содержащих фактические сведения, что здесь находилось? И что вообще известно о постоялом дворе?

А. Н. Островский в 1960-е годы

Островский писал, что действие комедии происходит лет сорок назад, то есть около 1825 года, поскольку пьеса создана в 1865 году. По мнению знатоков, постоялый двор был ликвидирован задолго до первого приезда драматурга в

Щелыково. Следовательно, Александр Николаевич сам его не видел, а писал с чужих слов. Однако так ли? Ответ на этот вопрос мог дать только Костромской облархив.

В 1825 году Щелыково принадлежало помещикам Сипягиным, затем отцу драматурга Николаю Федоровичу, а после его смерти в 1853 году вдове, Эмилии Андреевне Островской. В бытность ее владелицей усадьбы, в 1857 году, проходила в России 10-я ревизия, зафиксировавшая все имущество и крестьян имения. И Эмилия Андреевна, перечисляя, что ей принадлежит, сообщала властям:

«При усадьбе Щелыково на реке Куекше находится собственная моя мукомольная мельница о двух поставах с толчеей, и в двух верстах от усадьбы на большой, пролегающей от города Кинешмы в город Галич столбовой дороге, питейная лавочка и постоялый двор».

Таким образом, «бойкое место», по согласным указаниям Олиховой, Беликова, Янкова и архивного документа, находится на прежней большой столбовой дороге – Галичском торговом тракте, слева от него, в двух километрах от повертки на Щелыково. Миловидов, жалующийся Евгении: «Ух, устал! От самой кузницы пешком шел», мог и на самом деле утомиться, придя сюда от мельницы Тарасихи, возле которой стояла кузница, где он спрятал лошадей.

На «бойком месте» стояли и постоялый двор, и питейная лавочка, или попросту кабак, – для проезжих важнее был первый, местным жителям лучше запомнился второй.

И еще. В своих пьесах Островский, как правило, подробно место действия не характеризовал. Но в комедии «На бойком месте» неожиданно дается почти детальное описание постоялого двора: «Сени на постоялом дворе, посредине две двери: правая – в черную избу, левая – в чистую комнату; между дверями, у стены, скамья и стол; на столе свеча в фонаре; в левом углу лестница в светелку; с правой стороны дверь на двор; над дверью низенькая рама; четыре небольших стекла в один ряд. «В комнате» направо в углу печь с лежанкой; посредине, подле печи, дверь в черную избу, левее часы с расписанным циферблатом, еще левее в углу комод и на нем шкафчик с стеклянными дверцами для посуды; с правой стороны, у печки, дверь в сени, ближе кровать с ситцевым пологом; на левой стороне два окна, на окнах цветы: герани и жасмины; в простенке зеркало, по бокам лубочные портреты; под зеркалом старый диван красного дерева, обитый кожей, перед диваном круглый стол».

Складывается впечатление, что драматург описывал место действия визуально, с натуры. Вероятнее всего, так и было – в

1864 и 1865 годах, когда шла работа над пьесой, владевшая усадьбой и постоялым двором Э. А. Островская еще сдавала его в аренду кинешемским мещанам. Недаром Бессудный назван не владельцем, а только «содержателем» постоялого двора. У Олиховой, родившейся в самом конце 1850-х годов, «бойкое место» тоже на памяти. Понятно, что и Александр Николаевич заходил туда не однажды, наслышан он был и о дурной славе этого заведения. Выкупив у мачехи Щелыково, Островский не перезаключил договора с арендаторами – ненавидя пьянство, он считал бесчестным содержать кабак и пользоваться доходами с него. Правда, закрытие постоялого двора и корчмы у щелыковской повертки не привело к скорому прекращению разбоев на большаке. «У нас грабеж, – сетовала в 1869 году управительница усадьбы Ирина Андреевна Белехова, – и много народу убивают».

К концу 1860-х годов большой, из двух половин, дом с светелкой был разобран, а его материалы, кажется, частично пошли на возведение «гостевого дома». Одну из хозяйственных построек – «курную избу» – передали под жилье лесного объездчика. В 1930-х годах рухнула и она. Там, к слову, до сих пор заметны следы ям и фундаментов.

А место – оно ведь вновь стало «бойким». Теперь мимо него проходят и проезжают в музей-заповедник А. Н. Островского тысячи туристов. Некоторые группы устраиваются тут на привал…

По берегам Сендеги

Усадьба Островских, как, впрочем, и большинство помещичьих усадеб в средней полосе России, стояла на отшибе, в стороне от крестьянских поселений. Парк и луг отделяли ее от деревни Ладыгино, что находилась на западе, поле – от Лобанова, что к северу. А по вечерам Александр Николаевич, засидевшись за работой или за книгой в северной гостиной, наблюдал, как гаснут огоньки, просвечивающие сквозь листву деревьев к северо-востоку от усадьбы. Один, второй, третий… Много их быть не могло – в Субботине насчитывалось не более восьми-девяти изб.

Субботино – самая ближняя к Щелыкову деревня, и версты до нее не будет. Давно основанная, вместе с усадьбой купленная Николаем Федоровичем Островским. Неспешной ходьбы до нее – четверть часа. Надо выйти из усадебных ворот, свернуть по проселку направо, а потом, у края парка, сойти на протоптанную тропку влево. Тропка чуть погодя выводит к деревенской околице – неровный ряд изб в один порядок глядит фасадами на Щелыково, а задами выходит к отлогому склону. Под склоном – луг, дальше, за перелеском, Сендега.

Драматург любил ходить в Субботино в мае, сразу после приезда из Москвы в усадьбу. Тогда на подходе к деревне пышно цвела, благоухая, черемуха, а луг перед околицей пестрел цветами – нигде в округе их столько не росло. Сначала всходили купавки и полевые анютины глазки, позднее появлялись ромашки, клевер. Сегодня весь желтый, завтра Субботин луг обливался синевой. Как будто его ежедневно перекрашивал какой-то неуемный живописец! А на огородах за деревней цвели яблони.

Гостиная в доме Островских

Островский заходил и в избы: всех здесь он хорошо знал, почти из каждой избы кто-нибудь работал летом в усадьбе – на кухне, в огороде. Встречали дружелюбно…

Но существовала и вторая тропа, оставлявшая Субботино справа, за деревьями. Тропа эта уводила на Харинскую пустошь.

Когда-то на месте пустоши стояла кутузовская деревня Харино, но в первой четверти XIX века она исчезла. Приехав впервые в Щелыково, драматург уже не застал и руин деревни: луг, на нем два старых сенных сарая, а дальше, на возвышенном месте в виде круга – лес с преобладанием сосны. Лес этот местные жители издавна называли «Шишкой». С «Шишкой» были связаны глухие предания, в центре ее есть еще искусственный холм, именуемый старожилами «Булдыш», сохранились остатки каменной кладки, ямины и т. д. Словом, место было обжитое, даже укрепленное, только все уже, задолго до Островского, давным-давно позабыли, что там стояло, где именно, в какие времена.

Зато при драматурге Харинская пустошь славилась своими сенными покосами, сочными травами. Александр Николаевич любил сенокос и в июле, после Петрова дня, то и дело приезжал в Харино с гостями – на лошадях, захватив с собой провизию. Пикники удавались на славу, запоминались гостям навсегда! Хозяин тоже блаженствовал. «Отправляемся в луг с самоваром –

чай пьем», – расписывал он Сергею Васильевичу Максимову, прежнему участнику таких поездок. Речка Сендега протекала неподалеку от луга и образовывала тут заводь – к ней пробирались мелколесьем, через густые кусты можжевельника. «Вечером ездили на покос в Харино, – записывал 17 июля 1870 года гостивший в усадьбе Дубровский в своем дневнике. – Около леска («Шишки». – *В. Б.*) Островских я и маленький Саша слезли с долгуш, и Островский повел меня в Харинскую заводь густым лесом по берегам гремучей речки Сендеги. Берега этой речки, покрытой по обеим сторонам лесом, очень дики и пустынны, дно каменистое, вода – кристалл; прилегающие к ней поляны и возвышенные берега ее чрезвычайно красивы. В заводи пили чай и наслаждались запахом только что скошенного сена».

По-видимому, подобные вылазки на Сендегу под Харино совершались из Щелыкова довольно регулярно, так как сообщения о них мелькают в письмах: «Читаем, гуляем в своем лесу, ездим на Сендегу ловить рыбу, сбираем ягоды, ищем грибы». Сюда чаще всего водили на прогулки детей – близко, красиво, земляники много, а те даже в Москве бредили Хариным, сравнивали с его полянками и лужайками все, что поддавалось сравнению.

Детей дальше «Шишки» не пускали, сам же Островский нередко, побродив по пустоши, поворачивал налево, туда, где виднелись коньки крыш деревни Лобанове. Деревня была небольшая и считалась новопостроенной – еще в конце XVIII века по документам она именовалась Ново-Лобановом. В саму деревню Александр Николаевич, если не было особой нужды, не заходил – он поворачивал у крайней избы и, сопровождаемый лаем собак, спускался по широкой луговине к Сендеге. Речка в этих местах виляла, кружилась, то совсем суживаясь, то распадаясь на два рукава и образуя низкие песчаные острова, обрывистые ее берега поросли малиной, черной смородиной и, увы, жгучей крапивой.

По жердочкам драматург осторожно перебирался на левый берег реки – когда за год до смерти он не отважился на это, не доверяя слабым ногам, то сопровождающие Александра Николаевича крестьяне, встав прямо в воду – Сендега здесь неглубока, провели его под руки.

Перейдя реку, Островский шел иногда по тропке через урему налево, к «Стрелке». Профессор Александр Иванович Ревякин, занимавшийся изучением местных мотивов в творчестве Островского и опрашивавший в 1930-х годах местных жителей, отмечал в монографии: «Создавая обстановку «Снегурочки», Островский, несомненно, имел в виду и так называемую «Стрелку». Это высокая гора на левом берегу Сендеги против

деревни Лобаново. С этой горы, ныне заросшей лесом, открывался великолепный вид на окрестности. На «Стрелке» были устроены беседки для сиденья и большая крытая беседка-гриб. По воскресеньям сюда собирались девушки и парни всех ближайших деревень и сел на гулянье: пели песни, водили хороводы, танцевали кадриль, отплясывали русскую. На «Стрелку», полюбоваться народным гуляньем, съезжались многие владельцы окрестных поместий. Особенно частым посетителем «Стрелки» был Островский, прибывавший сюда со всей семьей. Старики вспоминают, что он оделял ребят конфетами».

Склоны «Стрелки» поросли редко встречавшимся в щелыковских местах орешником, и туда жители ходили и «по орехи». А местные помещики, наглядевшись на гулянье, перемещались обычно на красивый крутой изгиб реки несколько ниже по течению. Изгиб этот старожилы и поднесь зовут «Дворянской лукой». Владельцы окрестных усадеб, большинство которых постоянно жили и служили в крупных городах, а в родовые гнезда, ставшие, по существу, дачами, съезжались лишь на лето, собирались на луке по предварительной договоренности с собственными припасами, с музыкой, беседовали и веселились. Откуда повелась такая традиция, неизвестно. Драматург не манкировал подобными съездами, но, в отличие от большинства соседей, являлся на берега Сендеги не один-два раза за лето, а значительно чаще. Об этом тепло вспоминали позднее и крестьяне:

«Затейник был большой. Соберет, бывало, семью всю и гостей, и поедут пить чай на реку Сендегу к деревне Сергееве. Место-то там больно красивое – луг большой, а кругом лес высокий. Ягод да грибов там было всегда много. Погуляют, ягод наберут и соберутся все у самовара, а из деревни ребятишки прибегут на приезжих посмотреть, и каждого Александр Николаевич конфетами оделял. И все это от души да с добрым словом».

На лошадях с семьей и гостями Александр Николаевич ездил в Сергеево не через Сендегу, а по большаку, сворачивая не доехав Ивашева. Однако и от «Стрелки» сама деревня, упоминаемая в крестьянских воспоминаниях, находится неподалеку. Надо еще спуститься немного по течению Сендеги, дойдя до крутого косогора, разрезанного лесистым оврагом. Поднявшись на косогор, прежде всего мы увидим впереди огромный вяз в три обхвата и вблизи несколько изб. Возраст вяза измеряется столетиями, на его могучих выпиравших из земли корнях любил, по преданию, отдыхать Островский. Сергеево принадлежало ему, и драматург периодически бывал там. Главное, ему нравилось

само местоположение Сергеева: «Наш дом стоит на высокой горе, – объяснял он друзьям в первый приезд в Щелыково, – побольше нашей Воробинской, а есть места, например, деревня наша Сергеево, откуда наш дом кажется в яме, а эта деревня в четырех верстах от нас на север». Увлекающийся молодой литератор гиперболизировал – от Сергеева до Щелыкова не более двух с половиной верст, и из деревни усадьбу никак нельзя разглядеть. Но Островского поймешь – вид с сергеевского косогора действительно открывался далекий.

Столь выгодное местоположение селения давно заметили и одобрили местные жители. В седую старину, когда в щелыковских краях бродили отряды татар и черемис, деревня называлась «Сергеево городище». Видимо, она была древнейшим укрепленным поселением округи, где за земляными валами и деревянным тыном отсиживались от врагов окрестные крестьяне. Укрепления ликвидировали уже в XVII столетии, а деревню именовали «городищем» до времени Островского. Интересно и то, что в Сергееве в большом количестве всегда росли вязы – деревья весьма редкие в здешней местности. По мнению дендрологов, большой сергеевский вяз – самое древнее дерево на территории Костромской области. Конечно, Островский показывал его всем своим гостям.

Во владении Островского было Сергеево большой и многолюдной деревней с избами в два порядка – захирело оно, умалившись до пяти домов, значительно позднее. А вот соседняя деревня Тимино, от которой ныне и следа не осталось, и при драматурге была крохотной.

Расположено Тимино было в полуверсте от Сергеева, еще выше по течению Сендеги, в так называемой Голубиной долине.

Во времена драматурга стояло в Тимине два крестьянских двора и в стороне от них – маленькая деревянная усадебка, по существу, флигелек, окруженный неказистыми и ветхими службами. Жила в этой усадебке девица из дворян Ирина Андреевна Белехова.

Имя Белеховой было хорошо знакомо всей округе. Никто уже и не помнил, каким образом она появилась в Щелыкове в самом начале 1820-х годов и устроилась там в роли приживалки при Прасковье Федоровне Кутузовой. Была она тогда еще молодой, двадцатилетней, и сумела угодить своей услужливостью болезненной и суеверной покровительнице. В 1821 году Кутузова даже подарила ей, оформив подарок по закону, пять душ крестьян из села Твердова и несколько десятин земли в Щелыкове. Белехова уже намеревалась обстроиться в щелыковской усадьбе, но Прасковья Федоровна скончалась, а ее наследники, Сипягины,

поспешили выкупить у приживалки и крестьян, и землю. Ирина Андреевна не упиралась, а на полученные деньги купила в 1833 году у помещика Арнольда два двора в Тимине и стала местной помещицей. Владелицей она оказалась жестокой и деспотичной, прославилась своей скупостью, но средств ей все равно не хватало – что могли дать два нищих крестьянских двора, тем более что и земли у Белеховой было немного – Тимином владела она не одна, а вместе с богатой помещицей из Покровского Н. Н. Молчановой и Сипягиными. Ирина Андреевна приспособилась стать нужной персоной при своих зажиточных соседях, а особенно при хозяевах Щелыкова. Сипягины, жившие постоянно в селе Кабанове – своей галичской вотчине, начали поручать Белеховой присмотр за кинешемской усадьбой в зимнее время, а потом и надзор за полевыми работами – та принимала такие поручения охотно, извлекая из них свою выгоду. К Островским мелкопоместная соседка перешла как бы вместе с Щелыковом, да и по Тимину они стали соседями. Николай Федорович, все предпочитавший делать сам, правда, в ее помощи не нуждался, но после его смерти вдова, Эмилия Андреевна, стала все чаще прибегать к услугам Белеховой, и та вновь сделалась своим человеком в щелыковской усадьбе.

Александр Николаевич узнал Белехову, когда той было уже за пятьдесят, а выглядела она намного старше. Сестра драматурга, Надежда Николаевна, в одной из своих автобиографических повестей изобразила Ирину Андреевну тех лет в образе мелкопоместной дворянки Колупаевой: «Одежда помещицы Колупаевой состояла из черной, порыжевшей от времени, ситцевой юбки, белой, но далеко не чистой кофты, обильно усыпанной табаком, нюхать который очень любила старуха. Наружность ее вполне соответствовала костюму: седые, коротко остриженные волосы торчали беспорядочными прядями во все стороны, как щелки узкие, зеленоватые недобрые глаза, казалось, насквозь пронизывали человека, острый подбородок выдавался вперед, а тонкие бесцветные губы крепко сжимались».

В середине 1860-х годов Ирина Андреевна в который раз, и теперь уже окончательно, переселяется из Тимина в Щелыково. Э. А. Островская продала усадьбу своим пасынкам Александру и Михаилу Николаевичам, а те, приезжая сюда лишь на несколько летних месяцев, решили пригласить Белехову управительницей. На жалованье настоящему управляющему доходов с усадьбы не хватило бы, а Ирина Андреевна довольствовалась тем, что ей выдавали продукты и делали подарки к праздникам. Управляла она Щелыковом по старинке, не очень даже считалась с тем, что вотчинные крестьяне – уже не крепостные. С делами по усадьбе

она еще справлялась сама, но надзирать за полевыми работами в дальних концах имения, например, в том же Высокове, ей становится трудно, и Ирина Андреевна берет себе в помощь двадцатилетнего крестьянина Николая Любимова, женившегося на бывшей ее крепостной девушке. По вечерам, сидя со свечкой во флигеле, она записывала корявым почерком расходы – заплачено за покупку плетеной корзины, за починку косули. Тем же почерком писались большие отчеты для Александра Николаевича. Он любил эти малограмотные послания – в них старушка излагала красочно и обстоятельно все местные новости. И глядишь, через несколько лет письмо управительницы становилось материалом для какой-либо пьесы Островского. «Ах, – извещает Ирина Андреевна своего хозяина в конце 1869 года, – у нас столько волков – бездна, по улицам ходят, у вас Соловейку и мою собаку тоже съели, и маленького одного щенка съели». Как тут не вспомнить Аполлона Мурзавецкого, оплакивающего в комедии «Волки и овцы» (1875 год) гибель своего пса: «Близ города, среди белого дня, лучшего друга… Тамерлана… волки съели!»

Летом 1870 года Белехова скончалась, и Александр Николаевич, сообщая приятелю о смерти «нашей старушки», жаловался ему, что теперь сам вынужден заниматься хозяйством. Появилась у него и новая забота – Ирина Андреевна была одинока и по уговору Островского завещала свое имущество тиминским крестьянам. Но завещание было оформлено не совсем юридически правильно, и его утверждение потребовало от драматурга немалых хлопот. В Костроме этим, по его просьбе, занимался родственник Островских Павел Иванович Андроников, и, когда через три года дело все же успешно завершилось, Александр Николаевич писал ему: «…также благодарны Вам и наследники Белиховой, испытавшие некогда всю тяжесть ее барской руки и получившие, наконец (и то благодаря моим настояниям), мзду за свою рабскую безответность».

А мизерное Тимино так и осталось поставщиком управителей для Щелыкова. Долгие годы работал приказчиком у Островских Николай Алексеевич Любимов – терпеливо сносил припадки гнева и нелепые наставления вздорной и недалекой вдовы драматурга Марии Васильевны, трогательно заботился о хиреющей усадьбе, обходясь копеечными средствами. После смерти Николая Алексеевича должность приказчика в Щелыкове унаследовал его сын, Николай Николаевич. Ему, когда Островский умер, исполнилось всего три года, но Любимов-младший знал семью драматурга и считал Щелыково для себя такой же родиной, как и Тимино. После Октябрьской революции

его обязанности по управлению усадьбой прекратились, и Любимов вернулся в родную деревеньку к крестьянскому труду. Но и после этого он не переставал волноваться за судьбы Щелыкова, продолжал писать письма Сергею Александровичу Островскому с подробной информацией о положении дел, старался разузнать, где находится вывезенная из усадьбы мебель. Когда в марте 1923 года в связи со столетием со дня рождения Островского из губернского центра были присланы уполномоченные для восстановления усадьбы, Любимов сообщает сыну драматурга, что он «указал многие из вещей, принадлежавших Вам, и которые должны быть поставлены на свои места». А 11 апреля 1923 года, в самый разлив и весеннее бездорожье, он один пришел в пустое тогда Щелыково и отметил там юбилей великого драматурга.

Скончался Николай Николаевич Любимов в 1960-е годы. Доживал он в селе Угольском, и туда часто приходили из Щелыкова туристы, чтобы побеседовать с последним управляющим Островских. Корреспондент костромской газеты описывает – в 1959 году он наблюдал, как по Угольскому ходили студенты и справлялись, где найти Любимова:

«На скамейке возле палисадника сидел, ссутулившись, сухощавый старичок в синей стеганой телогрейке. Студенты обратились с своим вопросом к нему. Старик усмехнулся, погладил седые усы и, лукаво взглянув на молодежь из-под нависших бровей, бодро сказал:

– Вот я и есть Любимов…»

Заметив, что студенты по-настоящему интересуются жизнью Островского в Щелыкове, Николай Николаевич, продолжает корреспондент, преобразился – он много рассказывал о том, что слышал от отца, а потом повел своих внимательных собеседников по любимым местам драматурга.

На мемориальном кладбище в Николо-Бережках, в нескольких метрах к западу от семейного захоронения Островских, стоит скромный железный крест. Под ним похоронен Николай Алексеевич Любимов, верный блюститель Щелыкова. А его потомки и сейчас работают в Музее-заповеднике.

Покровские разгадки

Осенью 1886 года распространилась по России литография: уединенный сельский погост, незатейливый деревянный крест с лаконичной надписью краской «А. Н. Островский». Вокруг могильного холмика высокая подсыхающая трава, полевые цветочки. Рисунок для литографии, кстати, рисунок мастерский, с настроением, исполнен, судя по цветущим травам, где-то вскоре после смерти драматурга, следовательно, в июне – июле. Литография подписная. Фамилия художника – Вапилов.

Поскольку это и наиболее раннее изображение могилы Островского, и единственное до установления на ней мраморного памятника в 1889 году, в Музее-заповеднике «Щелыково» стали наводить о художнике справки. Выяснилось, что Василий Петрович Вопилов (подписывающийся иногда и «Вапилов») родился в 1866 году в деревне Глинищи бывшего Нерехтского уезда Костромской губернии, с успехом закончил в 1889 году Московское училище живописи, ваяния и зодчества, преподавал рисование в Костроме, представлял свои работы на столичные и некоторые международные выставки, будучи по направлению близок к передвижникам. В 1900 году он внезапно уехал во Владикавказ, где учительствовал в гимназии, но после революции вернулся на родину и посвятил себя развитию ювелирного искусства в селе Красное на Волге. Там и умер в 1936 году. В молодости Вопилова считали художником талантливым и многообещающим, одна из его картин получила в Училище большую серебряную медаль. Его заметил В. В. Стасов, о его работах одобрительно отзывалась пресса. Ряд произведений Вопилова находится в крупных музеях.

Наконец, мы знаем, что Василий Петрович учился вместе с Коровиным, Левитаном, Мешковым, Бакшеевым, Кориным, дружил с ними. Левитан с Кувшинниковой гостили у него в деревне, Бакшеев впоследствии писал о нем воспоминания.

Однако почему во время смерти Островского оказался Вопилов в Щелыкове, установить не удалось – ни в архивах, ни в музеях, ни в мемуарах сведений об этом не оказалось.

Но весной 1975 года приехал в Щелыково художник из Кирова, средних лет, худой, высокий. Устроился в Доме творчества ВТО, в погожие дни пропадал на этюдах, в ненастные – подходил к музею, усаживался у крыльца, присматривался к сотрудникам. Потом стал вступать в разговор, хотя вообще был несловоохотлив. Однажды под вечер Георгий Александрович – так звали художника – появился у музея оживленнее обычного.

– В Покровское сегодня ходил, – объявил он.

Это никого не удивило. Все отдыхающие в Щелыкове любят совершать прогулки в село Покровское, благо оно недалеко, километра три всего, и дорога туда легкая и веселая. От усадьбы на северо-запад, немного по проселку, потом кромкой леса, дальше пересечь засаженную молодыми деревцами грибную Свинкину пустошь, достичь Сендеги и подняться вверх по течению – тут и Покровское. Через Сендегу у села есть лавы.

Но Георгия Александровича взволновала отнюдь не живописная дорога.

– На дядином этюде, который у меня в Красном, ведь покровская церковь изображена!

– Простите, а ваш дядя кто?

– Художник. Василий Петрович Вопилов.

– Он жил разве в Покровском?

– Не сам он. Там его покровительница жила, Надежда Николаевна Молчанова.

– Тем более любопытно. А этюд датирован?

– Стоит на нем дата. 1886 год.

Кое-что стало понятнее. А рассказанные Георгием Александровичем, который в детстве жил с дядей в Красном и сохранил там его дом, семейные предания и находящиеся у него картины дяди, старинные документы и антикварные вещи приоткрыли завесу над удивительной историей.

Вид на село Покровское

Предки Вопиловых были крепостными из сельца Нафанайлова Нерехтского уезда. Нафанайловские крестьяне выращивали и обрабатывали лен, а тресту отвозили на лошадях в село Покровское соседнего Кинешемского уезда, где находилась главная усадьба их владельцев. Рано лишившейся мужа матери Васи Вопилова, когда наступал ее черед, приходилось брать в такие поездки ребенка с собой. Там он попался на глаза помещице, приметившей, что мальчик отменно рисует. Жила

Надежда Николаевна Молчанова одиноко – ее вдовую мать и младшую сестру январской ночью 1832 года сожгли в усадебном доме слуги, доведенные до отчаяния лютостью и алчностью барыни. Сама же она успела раздетой выброситься из окна мезонина, где спала, в сугроб и спаслась. Собственной семьи Молчанова не завела. Она определила Васю сначала в Кинешемское уездное училище, а затем материально поддерживала его в период пребывания в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества. Летние каникулы Василий Петрович проводил у нее в Покровском.

Во времена Островского молчановская усадьба в Покровском слыла одной из местных достопримечательностей. Стояла она на высокой горе, откуда открывался красивый вид далеко окрест. Одноэтажный деревянный дом с мезонином, выстроенный после пожара в 1830-е годы и уцелевший до сего дня, выходил окнами на извивающуюся внизу Сендегу. Через весь его фасад тянулась терраса с лесенкой посредине, спускавшейся в яблоневый сад. Вымощенная булыжником дорожка, упиравшаяся в ворота усадьбы по левую сторону от дома, отделяла сад от парка. Был парк террасированный, с перемежающимися березовыми, липовыми и еловыми аллеями, сходящими уступами под гору; центральная липовая аллея рассекала парк пополам, от сада до реки. Ближе к дому росли еще четыре пихты.

Поэтичная природа Покровского, прекрасный парк, уютная усадьба и оригинальная престарелая владелица вдохновили молодого художника на создание целой серии картин. На одной из них изображается Покровская церковь 1732 года, древнейшая в округе. На другой, малого формата, вид усадьбы – к воротам подходит, очевидно, сама хозяйка в салопе. К сожалению, лишь по блеклой репродукции известна работа «В гостях у старой барыни», удостоенная в 1888 году медали, – ее прямо на выставке приобрела некая Кабанова, и следы картины затерялись. Пожилая помещица, несомненно Молчанова, принимает на кухне своего прежнего дворового человека, вернувшегося из странствия «по святым местам», и слушает его рассказы.

Скончалась Надежда Николаевна летом 1889 года. Вызванный в усадьбу Вопилов в живых ее не застал, но успел зарисовать в гробу. Покидая навсегда Покровское, он забрал некоторые вещи покойной, в том числе две кофты и юбку из домотканины, пояс и подол у которой расшиты крепостными мастерицами. Это одеяние, теперь частично поступившее в музей А. Н. Островского, требовалось художнику для задуманного им большого полотна «Крестный ход».

В. Н. Бакшеев, однокашник Вопилова по училищу,

приезжавший к нему в костромскую деревню в 1890-е годы, так описал работу:

«В сравнительно небольшой комнате, с большим окном на север, на мольберте стоял эскиз масляными красками, размером, примерно, 1 × 1,5 м. На эскизе, с правой стороны, изображена часть барского дома с террасой, перед которой на площадке стоял стол, покрытый скатертью. Рядом два стула в белых чехлах. Возле стола – барыня в светло-лиловом платье. Поодаль от нее управляющий, экономка, горничная, вообще прислуга, жившая в этой усадьбе. Около дома – липовый парк. Все это в тени, только кое-где пробегал солнечный свет по веткам, дорожкам парка и густой траве между лип. На левой стороне эскиза медленно и чинно по аллее двигается толпа крестьян, ярко освещенная солнцем; несут икону в золотой ризе, в воздухе колышутся хоругви. Все это блестяще написано, колоритно, гармонично, так все жизненно. Я бросился к Вопилову и расцеловал его:

– Вася, какая чудная вещь! Ты пиши картину и давай ее нам на передвижную.

– Хорошо, хорошо, как только напишу – пришлю непременно.

На том мы и порешили…

Вскоре в Петербурге на очередной выставке передвижников я встретил В. Е. Маковского и восторженно объявил ему, какую прекрасную картину нам даст Вопилов.

– Это понятно, Вопилов – прекрасный художник. Я его помню по школе, – сказал Маковский».

Написанная картина, однако, не попала на выставку – в минуту внезапно постигшей его душевной депрессии Вопилов изрезал ее ножом. Нечто подобное с ним повторилось в 1934 году, когда он уничтожил в Красном много своих полотен, как новых, так и ранних, письма друзей-художников, фотографии и т. д. Но в семье хранится превосходная работа Василия Петровича, увековечившая интерьер молчановской усадьбы: в раскрытой двухстворчатой двери спиной к зрителям стоит дворовая женщина, слева сидит за столом человек, в переднем углу тябло с иконой, на полу рядно.

Этот интерьер был отлично знаком и Островскому. Усадьба Молчановой одна из ближайших к Щелыкову, и он нередко захаживал туда во время прогулок. К тому же с Надеждой Николаевной у него были смежные земли в деревнях Сергеево и Тимино. Одно время драматург даже вел с Молчановой, вознамерившейся переселиться в Кинешму, переговоры о покупке ее усадьбы для своего младшего брата Андрея Николаевича, жившего в Казани. «Теперь у нас Андрюша, – извещал он летом 1874 года приятеля, – он покупает имение рядом с нами – село

Покровское…» Этому плану не суждено было осуществиться, но селом Александр Николаевич интересоваться продолжал. Покровское упоминается в его пьесе «На бойком месте».

Более того, по бытующему в щелыковских краях и среди потомков драматурга устойчивому преданию, Надежда Николаевна Молчанова послужила для Островского прототипом помещицы Мурзавецкой из комедии «Волки и овцы». И есть солидные основания считать предание достоверным. Согласно ремарке к первому действию, Мурзавецкая – «девица лет 65, помещица большого, но расстроенного имения…». Написаны «Волки и овцы» в 1875 году, когда Молчановой тоже было около 65 лет, в документах она именовалась «девицей» и владела крупным, но расстроенным поместьем. Меропия Давыдовна – богомольная ханжа; любимым времяпровождением Надежды Николаевны были разъезды «по святым местам» и беседы со странниками. Ее ханжество достаточно выпукло характеризует рассказ артиста К. В. Загорского, посетившего Щелыково в конце 1860-х годов: «В семь часов вечера приехала к нему (Островскому. – *В. Б.*) соседка по имению, почтенная старушка, и спрашивала совета – может ли она высечь мельника, арендовавшего мельницу у Александра Николаевича, мужика лет сорока, на том будто бы основании, что она была его восприемницей и как крестная мать она ответственна за него перед богом. Александр Николаевич выслушал ее, но совета никакого не дал». Разумеется, Мурзавецкая – не сколок с Молчановой, драматург создал обобщающий образ, но все же, работая над комедией в Щелыкове, он имел перед глазами реальный прототип старозаветной помещицы, которую наблюдал в ее повседневной жизни. Знал ли об этом Вопилов? Во всяком случае, хотя бы слухи должны были до него дойти. С Островским он, проводя с ним лето в расположенных по соседству усадьбах, не мог не познакомиться – тот ведь и сам бывал в гостях у Молчановой. Старшая дочь драматурга, Мария Александровна, увлекающаяся живописью, в Щелыкове любила окружать себя художниками. В свою очередь Василий Петрович был записным театралом, находился в хороших отношениях с А. П. Ленским, Щепкиной-Куперник. Тем более ему был дорог и близок Островский – именно потому художник откликнулся на его смерть проникновенным рисунком. И вполне возможно, что превращение драматургом покровской помещицы в литературный персонаж стимулировало повышенное внимание к личности Надежды Николаевны и Вопилова, для которого она тоже становится фигурой зловещей и символической.

Щелыково. У входа в дом А. Н. Островского

В пьесе «Волки и овцы» у Мурзавецкой есть племянник Аполлон Викторович, «молодой человек лет 24-х, прапорщик в отставке», бездельник и пьяница, которого она стремилась выгодно женить. Оказывается, Островский и здесь ничего не домыслил – у Молчановой тоже был родственник, сын двоюродного брата, Павел Васильевич Балакирев, в 1875 году имевший 24 года и нигде не служивший. Нравом он нимало не отличался от Аполлона, будучи таким же горе-охотником и гулякой. Тетка повсюду приискивала ему подходящую невесту и позднее-таки сумела женить его на неродовитой, но состоятельной Елизавете Сергеевне Остроумовой. Выше сообщалось, что Молчанова жила одна, однако и ее непутевый племянник обитал в том же Покровском. Дело в том, что в этом большом и богатом селе, занимавшем обширную территорию, всегда находилось несколько помещичьих усадеб, принадлежащих родам Ляпуновых и Балакиревых. Первые осели в Покровском после событий Смутного времени, а еще в конце XVIII века там проживал поручик Василий Андреевич Ляпунов, служивший в Бутырском полку, в годы Семилетней войны бравший Берлин и отличившийся при осаде Кольберга. Он умер бездетным (в его-то усадьбе и обосновались родители Молчановой). За два столетия жизни бок о бок Ляпуновы и Балакиревы переплелись и родством, и семейством – не случайно ведь боковой потомок бравого поручика, талантливый композитор Степан Михайлович Ляпунов уже в нашем столетии досконально и с глубоким знанием дела разобрал генеалогию

своего друга Милия Алексеевича Балакирева.

Род Балакиревых древний, в источниках упоминаемый с конца XV века, и притом коренной костромской, владевший в Кинешемском уезде деревней Семенково и частью села Покровского. Из них происходил и замечательный деятель XVIII века Иван Алексеевич Балакирев, известный в истории как «шут Балакирев». Родился он в 1699 году и до 16 лет воспитывался дома. В 1715 году Балакирев, представленный на смотре в Петербурге Петру I, определяется к учебе инженерным наукам. Но вскоре он прославился как необычайно умный острослов и шутник и в 1719 году был взят ездовым к императорскому двору. Иван Алексеевич пользовался определенным влиянием на Петра I – он научился одним метким словом смягчать гнев царя и подчас в шутливой форме давал мудрый совет при рассмотрении важных дел. Честный и добрый человек, Балакирев посильно помогал гонимым и обижаемым. До революции свыше ста раз издавались «Анекдоты шута Балакирева» – хотя большая их часть и апокрифична, они определенным образом соотносятся с теми парадоксальными происшествиями, устраивать которые был великий мастер владелец Покровского.

В царствование Анны Иоанновны Балакирев, имевший чин прапорщика гвардии, попал в штат придворных «дураков» – впрочем, шутами тогда назначались и представители знатнейших фамилий (Бутурлины, князья Голицыны и др.). Невзирая на неприязнь Бирона, он сумел приобрести влияние и на эту флегматичную недалекую самодержицу, которая скучала без него, и, по свидетельству современников, никогда не употреблял свое положение во зло. Не раз раздосадованная Анна приказывала ему «не болтать лишнего», но иногда и щедро награждала. Весной 1740 года стосковавшийся по родине Иван Алексеевич выпросился у императрицы в отпуск да в Покровском и остался. Усадьба его стояла на южном краю села и удержалась у его потомков вплоть до революции. По описи 1910 года в балакиревской усадьбе находились старый дом, флигель, скотный двор, каретный сарай, амбар и погреб. Сейчас там разместилась восьмилетняя школа – целы часть служб и одичавший парк.

Скончался И. А. Балакирев в 1763 году. Среди местного населения долго сохранялась память о нем – уже при Островском щелыковского посыльного Андрея Кузьмича Куликова, любившего «почудить» под хмельком, звали «шутом Балакиревым».

Собственных детей Иван Алексеевич не завел, а в Покровском жил с семьей двоюродного брата Ивана Ивановича, женатого на нижегородской помещице Анисье Кузьминичне Колокольцевой и

имевшего сыновей Василия и Ивана и внука Степана Васильевича, родившегося в 1740 году, секунд-майора Семеновского полка. В архиве В. П. Вопилова есть «отпускная» 1805 года: вдовая майорша Федосья Алексеевна Балакирева отпускала на волю свою крепостную из сельца Нафанайлова Анисью Петровну, бабушку художника. Дочь этой секунд-майорши, Александра Степановна, по мужу Молчанова (мать Надежды Николаевны), и была сожжена крестьянами. У ее брата Василия Степановича, умершего в 1832 году, был сын Василий, мелкий чиновник Костромской удельной конторы, и внук – «забубённый Аполлон» – Павел Балакирев. Другой ее брат, отставной лейтенант морской артиллерии Константин Степанович, продал свою часть Покровского Василию Степановичу и переселился в Нижегородскую губернию. Он имел восемь детей, из которых дольше других прожили Алексей, отец знаменитого композитора, и Владимир. Младшие поколения костромской и нижегородской ветвей Балакиревых продолжали состоять в теснейшей родственной связи, отчасти поддерживаемой энергичными усилиями Н. Н. Молчановой, двоюродной тетки как Милия Алексеевича, так и Павла Васильевича, ее наследников.

Действительно, умирая, Надежда Николаевна завещала свое имение (Покровское, Свинкину пустошь и др.) не Вопилову, а разделила его на четыре части, три из которых достались Балакиревым – Владимиру Константиновичу, Милию Алексеевичу и Павлу Васильевичу.

Родственник и наследник Молчановой, композитор не раз приезжал в Покровское, где и познакомился с Вопиловым. «Относительно лошади, – писал тот в 1889 году, – скоро лично буду говорить с самим Милием Алексеевичем Балакиревым». Дело в том, что доставшиеся ему после Молчановой вещи художник вывез из Покровского на лошади, принадлежавшей композитору, и должен был вернуть ее либо возместить стоимость. Вероятнее всего, в это именно свидание Вопилов подарил Милию Алексеевичу фотографию с своего рисунка «Н. Н. Молчанова в гробу». В. П. Глебов в воспоминаниях, опубликованных в «Историческом вестнике» за 1916 год, рассказывал о своем визите к композитору незадолго до его смерти. Он отметил, что на стенах его квартиры висело много гравюр и снимков: «Обратил я внимание еще на одну фотографию, изображавшую какую-то старушку, лежащую в гробу». Точно такое же фото передано Вопиловыми и в щелыковский музей.

Щелыково. «Голубой дом», где любили жить артисты Малого театра

На связи Балакирева с Костромой и Покровским указывают его письма. «Я взял отпуск, – говорится в письме к В. В. Стасову от 15 сентября 1888 года, – чтобы немного проехаться в Москву, в Ярославль, Кострому… и освежиться». А в сентябре в Покровском происходил раздел молчановского имущества. В другом письме, С. М. Ляпунову, от 14 августа 1890 года сообщается: «Я собираюсь в конце августа уехать в отпуск месяца на полтора и, главным образом, располагаю провести это время в Ярославле» – напомним, что тогда Балакирев вводился в права наследства и должен был приехать если не в само имение тетки, то в соседнюю с Ярославлем (два часа поездом) губернскую Кострому.

Приезжая в Покровское, композитор, наверное, навещал в

Щелыкове и Александра Николаевича Островского. Мы, правда, не располагаем прямыми данными о личном знакомстве двух современников – выдающихся деятелей русской культуры. С братом драматурга Михаилом Николаевичем Островским, министром государственных имуществ и почетным членом Академии наук, Милий Алексеевич знаком был – он подчинялся ему по службе, обращался с просьбами, встречался на званых вечерах. Возможно, они вместе и музицировали, так как, по словам композитора, Михаил Николаевич «серьезно занимался музыкой». В 1888 и 1890 годах конец лета министр проводил в Щелыкове, и приезжавший в близлежащее Покровское Балакирев не мог не посетить своего высокопоставленного знакомого хотя бы по долгу вежливости.

Но и помимо брата, у Александра Николаевича были с Балакиревым общие друзья, у которых они могли познакомиться. Композитор был учеником Александра Ивановича Дюбюка, ближайшего приятеля Островского и завсегдатая Щелыкова. Много лет находился Милий Алексеевич и в приязненных отношениях с Тертием Ивановичем Филипповым, в 1840–1850-е годы другом драматурга и его сотрудником по журналу «Москвитянин».

Таким образом, в последней трети XIX века в близком к Щелыкову селе Покровском соприкоснулись биографии сразу нескольких деятелей искусства. И в творчестве двух из них – драматурга и художника – отобразились тамошние наблюдения. Изучение же разбросанных по музеям и частным собраниям и незаслуженно забытых картин В. П. Вопилова вводит нас в мир образов Островского и их жизненных прототипов.

Катерина ли она?

Весной 1848 года, во время первой поездки из Москвы в усадьбу Щелыково, Александр Николаевич Островский, приблизясь к костромским пределам, записал в дорожном дневнике: «Это земляки мои возлюбленные, с которыми я, кажется, сойдусь хорошо». Уроженец Москвы, он тем не менее любил подчеркивать свое костромское происхождение, кровную связь с Костромой.

В начале XVII века, после захвата Смоленска Польшей, многие местные служилые люди переселились в глубь русской земли. Тогда-то род Островских и был испомещен в Солигаличском уезде. Потомки смоленских выходцев осели в своих небогатых усадьбах, служили, иные переписались в духовное сословие. В начале 1780-х годов привезли из Солигалича учиться в духовной семинарии в Костроме подростка Федора Островского. Тот успешно грыз гранит науки, по окончании семинарии женился на здешней поповне Ольге Александровне и получил за нею завидное место священнике Благовещенской церкви в центре города. Протопоп Федор распоряжался в богатом приходе рачительно и умело, в 1804 году возвел каменный храм, а рядом поставил для себя деревянный дом. В январе 1810 году скончалась Ольга Александровна, оставив сиротами четырех сыновей и двух дочерей – младшей не было и года. Вдовец поднимал ребят один, приобретя у костромских жителей строгой и честной жизнью большой авторитет – его нередко избирали в третейские судьи. Лишь в 1835 году престарелый Федор Иванович постригся в схимонахи Донского монастыря в Москве, поближе к старшим детям.

Первенец его, Николай, окончил в 1814 году Костромскую семинарию, а затем Московскую духовную академию. Духовная стезя не стала преемственной в роде Островских – Николай Федорович определился по судейскому ведомству, достигнув со временем степеней известных. Жил в Москве, а всю жизнь тянулся к Костроме, где находились все родственники: отец, брат Павел, сестра Мария, бывшая замужем за талантливым педагогом Василием Ивановичем Груздевым. Часто приезжал сюда, благо после отца достался ему дом на Никольской улице, а разбогатев, едва ли не демонстративно приобрел первое имение в родном Солигаличском уезде, потом прикупил Щелыково – в Кинешемском. Там угнездился, там и умер.

В провинциальной среде первой половины прошлого века понятия родства и свойства были святы, столичные жители

губернской родни не чуждались. Будущего драматурга отец возил в детстве и в Смоленск к дяде по матери, счет же поездкам в Кострому к дяде, тетке, другому дяде шел, верно, на десятки. Те тоже регулярно навещали Москву, привозя новости, россказни, подарки. Островский с ранних лет находился в курсе костромских событий.

Дневник первой поездки в Щелыково показывает, что к 1848 году драматург знал Кострому уже хорошо. Осмотрев город после недавнего пожара, он фиксирует, что «много хорошего сгорело в Костроме», знает названия частей города, не плутая, идет боковыми улочками к месту, откуда открывается живописный вид на Волгу, и т. д.

И в 1850-х годах А. Н. Островский бывал в Костроме много раз. Это подтверждается его перепиской с А. Ф. Писемским, а сам драматург вспоминал, как он помирил костромское общество в то время с начинающим литератором А. А. Потехиным, что мог сделать, конечно, лишь при личном общении. В костромском театре ставились его пьесы и играли его ближайшие друзья актеры Ф. А. Бурдин, И. Е. Турчанинов и Е. И. Климовский. В Костроме, наконец, проживали два его активных корреспондента и информатора: известный краевед – дядя и журналист Павел Иванович Андроников – оба они заинтересованно и профессионально изучали местную жизнь, рассматривая ее как материал для исследований.

«Гроза». Рисунок Б. М. Кустодиева

«Александр Николаевич Островский, – свидетельствует

краевед прошлого века, – как нам положительно известно, нередко бывал в Костроме». Профессора А. И. Ревякина в 1930-х гг. костромичи еще водили на место, где бросилась в воду Катерина, и к дому на Горной (б. Богословской) улице, где жил драматург, работая над «Грозой». Естественно, что к моменту создания в 1859 году «Грозы» он изучил российскую провинцию именно по Костроме.

Существует мнение, что в основу драмы «Гроза» положены кинешемские наблюдения. Это заблуждение – в 1850-х годах подобных наблюдений у Островского накопиться не могло. Посещение Кинешмы для него всегда сопрягалось с пребыванием в Щелыкове, куда Александр Николаевич приезжал в 1848, 1851, 1853, 1855 и 1857 годах, оставаясь там сравнительно недолго. В те годы он ездил в усадьбу через Кострому, минуя Кинешму, расположенную на другом, правом берегу Волги, – дорога шла почтовым большаком по левому берегу и в двух верстах против Кинешмы у деревни Чирково поворачивала к северу на Галичский почтовый тракт. Две версты и немного, зато они стоят иных десяти! В 1848 году губернский почтмейстер сообщал, что Чирковская гора для проезда со стороны Кинешмы «весьма трудна и опасна по своей крутизне и песчаному грунту земли». Под горой вдобавок протекала речка. Колеса на такой дороге увязали по ступицы. А потом еще перевоз через широкую, не всегда спокойную Волгу.

Возможно, любознательный драматург все-таки побывал в Кинешме и до 1859 года. Однако за одну-две короткие поездки он явно не мог собрать там достаточное количество бытового материала. А близких знакомых, которые могли бы подробно рассказать о кинешемской жизни, у Островского тогда не было.

Место действия в драме тоже напоминает более Кострому. «Добавьте к этому, что дом Клыковых выходил на Волгу, что Кулигин мог декламировать оду Ломоносова на Муравьевке, и вся драма целиком вмещается в рамки Костромы», – пишет долго живший в Костроме выдающийся литературовед А. В. Чичерин. Стоящий до 1933 года на самом волжском берегу костромской Успенский собор действительно имел стенку, на которой воспроизводились сцены из Священного писания, он, как и говорится в четвертом действии, пострадал от сильного пожара 1847 года, тогда как в Кинешме крупных пожаров не было, и т. д.

Кострома – губернский центр, Кинешма – уездный. Кабаниха и Дикой, кажется, живут в уездном городе, т. к. правит в нем городничий. Но Островский сам вычеркнул из афиши слово «уездный». Для него Калинов все-таки не Кострома и не Кинешма, а условный провинциальный город, в котором произошла

заурядная для тогдашней провинции история. И, как бы в подтверждение этого, подобная история повторялась во вполне реальной Костроме, надолго взбудоражив костромичей.

В 1880-х годах учитель Костромской мужской гимназии Н. И. Коробицын отыскал в архиве Костромского окружного суда три объемистых тома дела о костромской мещанке Александре Павловне Клыковой, изучил их и в 1892 году опубликовал в сборнике «Костромская старина» статью «Опыт комментария к «Грозе» А. Н. Островского».

«Дело» о Клыковой открывалось протоколом: «10 ноября 1859 г. унтер-офицер костромской пожарной команды Иван Федоров, наблюдая за порядком при перевозе через реку Волгу, явясь в Константиновскую часть, словесно объявил, что им замечено в реке Волге, близ перевоза, мертвое тело в женском платье, всплывшее наверх, вниз лицом». Это оказалась молодая женщина с русыми волосами, бывшая в верхней одежде, в белом коленкоровом чепце и черных прюнелевых башмаках. Костромской мещанин Алексей Клыков опознал в ней свою жену Александру Павловну. На допросе он показал, что женат третий год. 9 ноября он пришел домой из своей лавки в 7 часов вечера и вместе с женой, отцом, матерью и сестрой ужинали, а потом с женой легли спать. Жена при этом была в кацавейке. Утром Клыков проснулся во время заутрени – жены рядом не было. Дома ее не оказалось, послали к тестю, мещанину Павлу Трубникову, жившему неподалеку на Мшанской улице, – не нашли и там. Алексей Иванович все-таки отправился в лавку, но торговля не шла на ум, и он вернулся домой. Потом увидел из окна, что на берегу Волги толпится народ, повинуясь «безотчетному предчувствию», послал туда отца. Затем побежал сам…

Следствие выявило мрачную картину семейной жизни Александры Павловны Клыковой. В доме отца ей жилось хорошо, баловала ее и бабушка, вдовая купчиха Александра Совина. Шестнадцати лет Сашеньку, как звали ее родственники, выдали замуж. Приданого справили больше оговоренного на тысячу рублей, но почему-то недодали по росписи полдюжины нижних рубашек и холодный салоп, и это явилось причиной первых неудовольствий свекрови.

В отличие от Трубниковых, Клыковы жили замкнуто. Они тоже были состоятельны, торговали мукой, и для ее закупки Алексей часто ездил в Рыбинск. Семья снимала бельэтаж в двухэтажном каменном доме Стригаловых. Дом стоял на берегу Волги и был обнесен кирпичной стеной (ныне – здание педагогического института). Всем в семье заправляла свекровь, 46-летняя Ирина Егоровна, происходившая из судиславского

купеческого рода Кокоревых, известного приверженностью к расколу. Нравы были патриархальные – ели, например, на кухне из общей посуды. Свекор, Иван Иванович, муж – тридцатилетний Алексей и свояченица Ирина, ровесница Александры, явно тушевались перед грозной хозяйкой дома. Сноху она невзлюбила сразу – та, по словам соседей, «характера была веселого и здоровая», любила ходить в гости, навещать родных. Однако в новой семье ее быстро поставили на место… Слуга Клыковых на допросе показал, что из дома покойную отпускали редко: «… случалось, когда и попросится, свекровь скажет «сиди дома», вообще покойная сидела больше дома… Клыковы жили вообще тихо и уединенно – гости и посторонние бывали у них редко». А жившая рядом бабушка покойной объяснила, что внучка последний раз заходила к ней три месяца назад – не пускали.

Но не только это удручало молодую женщину. «В апреле месяце этого года дочь моя, – рассказывал Трубников, – родила ранее времени мертвого младенца, мне об этом не сказали, а мать моя узнала об этом от посторонних лиц спустя три дня». Причиной выкидыша он считал то, что дочь заставляли выполнять черную работу, а «она у нас к этому не была приучена». «Я уверен, – заключает отец, – что жить ей было не хорошо, да и дочь моя неоднократно говорила мне об этом по секрету».

В процессе следствия выявилось еще одно обстоятельство, которое Клыковы вначале хотели скрыть и о котором говорили очень неохотно – Александра Павловна была влюблена в другого и, возможно, изменила мужу. Сам Алексей Клыков сознался, что подозревать покойную начал еще до свадьбы, «потому что кто-то проходил не однажды мимо ее дома и делал разные приличные виды к любви; потом, когда она стала его женою, тот же самый прохаживался мимо дома Стригаловых и делал то же самое. Человек этот служил в почтовой конторе, принимал там письма, потом был писарем, он белокурый, среднего роста, у него спускные волосы заческой. Потом во время сговора заметил он из видов и неуместного поступка его с покойною женою что-то подозрительное. После этого, во время свадебных его двух столов, он заметил то же самое. Поэтому он в дом его, Петра Алексеевича Марьина, не принимал. Вскоре после женитьбы его к нему на квартиру приезжала тетка его, Марьина, Елизавета Михайловна не один раз и приглашала его жену к себе, но он последнюю не отпустил туда. Еще заметил он Марьина вместе с покойною своею женою в поле во время смотра Прусского полка, кроме того, Марьин часто ездил мимо их квартиры, еще у церкви Иоанна Предтечи он заметил, что против его жены стоял белокурый

мужчина».

Надо думать, что свидания молодой Клыковой с Марьиным не обошлись ей даром, а стали причиной тяжелых семейных скандалов, устраиваемых ревнующим мужем и особенно ханжой-свекровью. Клыковы об этом молчат, но проговариваются, что Александра обдумывала самоубийство и более была недовольна свекровью, а мужа «жалела». Старая Клыкова рассказала со слов сына, что когда он лег в постель вместе с покойною женою после ужина 9 ноября, последняя все жалась в постели к мужу, целовала его несколько раз и все говорила «жаль мне тебя». Сын уточнил, что в тот день он лег спать раньше жены, а жена так вела себя с ним в предшествующие дни.

Таким образом, сюжет «Грозы» в основных чертах совпал с жизненной драмой в семействе Клыковых. И там и здесь молодая женщина, попав в «темное царство», не хочет мириться с его удушающим гнетом и попранием своего человеческого достоинства и уходит из жизни. Обстановка в доме Кабанихи повторяется в материалах следствия о быте семейства Клыковых. Действие и там, и здесь происходит в городе, расположенном на берегу Волги, и т. п.

Удивительным является почти полное совпадение действующих лиц в жизненной и литературной драмах, с их характерами, возрастом, родственными отношениями. В самом деле:

Ирина Егоровна Клыкова – Марфа Игнатьевна Кабанова
Алексей Иванович Клыков, ее сын – Тихон Иванович, ее сын
Александра, его жена – Катерина, его жена
Ирина, сестра Алексея – Варвара, сестра Тихона
Петр Алексеевич, молодой человек, почтовый чиновник – Борис Григорьевич, молодой человек, порядочно образованный

Сама фамилия «Кабановы» легко транскрипируется в «Клыковы», ибо у кого и клыки, как не у кабана? Так в свое время и заключили костромичи. Добавим, что они без труда установили, кто изображен в драме под именем Кулигина, и не ошиблись, что в Костроме нашелся свой богач-самодур, подобный Савелу Прокофьевичу Дикому – текстильный фабрикант Иван Савелович Михин, а выбор кудряшей и феклуш в городе всегда был предостаточным. Не надо забывать, что для костромичей Островский был земляк, всего пару месяцев назад выехавший из города и постоянно интересующийся местной жизнью. Поэтому они резонно решили, что в «Грозе», поставленной в Москве ровно через неделю после самоубийства Александры, описаны события

в семье Клыковых.

В 1860 году «Гроза» была впервые поставлена на сцене костромского театра. Общественное мнение настолько уверовало в костромскую основу драмы, что артисты загримировались под членов семьи Клыковых и восстановили на сцене интерьер их жилья. Алексей Клыков, проживший до конца XIX века, по смерть именовался в городе «Тихоном».

Между тем трагедия в семье Клыковых случилась 10 ноября 1859 года. Островский же вынашивает замысел «Грозы» с 1856 года, приступил к работе над драмой в июне и закончил ее 9 октября 1859 года. На невозможность использования в «Грозе» «клыковской истории» указывает впервые А. В. Чичерин (впрочем, хронологические несообразности заметил и Н. И. Коробицын, приводя, однако, малоубедительные объяснения). Все объясняется иначе – Островский, гениальный драматург и тонкий знаток русской жизни, сумел отобрать для пьесы сюжет воистину типический. «В «Грозе», – подчеркивал И. А. Гончаров, – улеглась широкая картина национального быта и нравов с беспримерной художественной полнотой и зрелостью. Всякое лицо в драме есть типический характер, выхваченный прямо из среды народной жизни, облитый ярким колоритом поэзии и художественной отделки».

Не будь «Грозы», исследователи не обратили бы внимания на частное дело о смерти Александры Клыковой, во всяком случае, не квалифицировали бы его как типическое, отобразившее, как в капле воды, российскую действительность. Островский написал драму, пользуясь наблюдениями, почерпнутыми на родине предков, в Костроме. Однако он рассматривал Кострому как часть России. И конечно, прав исследователь творчества Островского А. В. Чичерин, констатировавший, что «обстоятельства и образы «Грозы» почерпнуты из глуши повседневной жизни, доведены одновременно и до крайней конкретности и до высшей степени философского обобщения. Поэтому вполне понятно, что в каждом волжском городе оказался не только свой бульвар над Волгой или овраг и сад, к нему выходящие, но своя Катерина, с ее томящейся и мятежной душой и с ее трагической участью, своя Кабаниха, с черствым и мертвым ее деспотизмом, свой Борис, с его подбитыми крыльями, и свой Кулигин, последователь «ученой дружины», поклонник Ломоносова, человек с умом бесстрашным и устремленным вперед».

Костромской Кулибин

Биографические сведения о Кулигине в драме «Гроза» отличаются подчеркнутой лаконичностью – автор не дает даже его имени. Зато фамилия говорит о многом, ассоциируясь со знаменитым нижегородским механиком И. П. Кулибиным. Действительно, Кулигин – «мещанин, часовщик-самоучка», рекомендовавшийся как «механик-самоучка». Ему за пятьдесят. Он таки успел «поначитаться», восхищается величием и красотами природы, увлекается астрономией – «звезды-то уж пригляделись». Кулигин вольнодумец, понимающий фальшивость и гнилость существующих социальных и моральных устоев, однако не восстает против них, а ограничивается обличительными монологами и предпочитает благоразумно отступать. Еще в пьесе оговаривается, что Кулигин «отыскивает перпетуум-мобиле», то бишь «вечный двигатель», но это добавление, придающее образу механика несвойственную ему в целом комичность, кажется, понадобилось драматургу лишь для того, чтобы провести через цензуру кулигинские монологи да рельефнее обозначить иллюзорность его мечтаний раздобыть «миллион» на общественные нужды.

Что типы, подобные Кулигину, были в тогдашней русской провинции, известно и из истории, и из литературы. Это и нижегородец Кулибин, и костромич Зарубин, и нижнетагилец Черепанов, и т. д. Павел Свиньин и его сотрудники обнаружили и описали на страницах «Отечественных записок» добрую дюжину таких изобретателей и умельцев из «простого звания». Перечень их открыл Александр Красильников.

«Отечественные записки», как периодическое издание, стали выходить с мая 1820 года. В первом же их номере была опубликована статья издателя под пространным названием «Красильников, провинциальный оптик, механик и архитектор». Начало ее выглядит интригующе:

«У нас в губернских городах хорошая, правильная архитектура еще довольно редка, а потому и замечательна для всякого любителя изящного. Любуясь в Костроме красотой колоколен у Спаса, что в гостином дворе, у церквей Козьмы и Демьяна и Благовещенской, также фасадами некоторых домов приятной наружности, отличавшихся вкусом и особенно простотою, особливо в размещении колонн, кои служат часто камнем преткновения для самых опытных архитекторов, я узнаю, что здания сии выстроены по планам костромского купца Красильникова. Это имя часто повторяемо мне было и в губернии

по селам, где встречал я церкви замечательной архитектуры. Находя потом в училищах и у многих помещиков электрические машины с любопытными приборами, электрические лампы с электрофонами, микроскопы, камеробскуры, гидрометры, компасы, солнечные часы, пантографы, астролябии, я слышал что все сии вещи трудов – Красильникова…».

Отметим для себя любовь Красильникова к изготовлению (и это в начале XIX века) электрических приборов. Затем обратимся к тексту «Грозы». Дикой и Кулигин беседуют на бульваре:

«Кулигин… У нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Дикой *(гордо)*. Все суета!

Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были.

Дикой. Какие такие там у тебя громовые отводы?

Кулигин. Стальные.

Дикой *(с гневом)*. Ну, еще что?

Кулигин. Шесты стальные…

Дикой. Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори!

Кулигин. Электричество».

«Кто прожектировал, – продолжает Свиньин, – великолепный иконостас в аннинской церкви? Опять говорят – Красильников. Переезжая устье Костромы реки по ровному, твердому месту и любуясь, как легко в средине оного выводится звено для пропуска барок и плавучего лесу – узнаю, что мост построен также Красильниковым… Наконец, уронил я дорогие мои Брегетовы часы и, не знал, кому отдать починить их, не надеясь на искусство провинциального часового мастера, тем более что и в Петербурге один только художник знает сей механизм, но мне советуют отослать их – к Красильникову и уверяют, что он исправит их наилучшим образом! Что это за чудесный человек – Красильников, который все знает, все умеет? – и я лечу с ним познакомиться».

Известно, что Павел Петрович Свиньин был человек увлекающийся и, забалтывающийся, что он мог приписать своему кумиру на час несуществующие заслуги и таланты! Но ведь он писал о конкретном лице, жившем в указанном городе, – тут мудрено слишком много присочинить, зная, что очерк прочтет сам Красильников.

Автор подробно описывает свое первое свидание с костромским уникумом: «Меня приводят к небольшому каменному домику с колоннами. На белой как снег лестнице меня встречает средних лет человек с добродушным русским

приветствием: милости просим! Умное лицо и выразительный взгляд достаточно предупреждают меня, что это был сам хозяин – предмет моего посещения. Он вводит меня в чистую комнату, по стенам которой развешаны в симметрии изрядные живописные картины и несколько весьма хороших эстампов. В одном из шкафов нахожу несколько любопытных окаменелостей, раковин, кораллов и т. п., собранных им на берегу Волги во время прогулок…».

Надо было попасть в Кострому 1820-х годов, чтобы постичь, насколько обстановка в доме Красильникова отличалась от интерьера обычного купеческого дома. «Круглая темная деревянная лестница, – характеризовал анонимный автор официального министерского обозрения костромской жизни, – отдельные комнатки, пестро раскрашенные большие уродливые печи с писаными изразцами, кивот с образами в окладах, портреты царские, картины самой грубой работы в золоченых рамках к шкафы с фарфоровой и хрустальной посудой и серебряными ложками, симметрично развешанными, – все это, вместе с мебелью, вышедшей из моды, составляет целое домов купечества, где отсутствие вкуса и комфорта в полном развитии».

Здесь вместо хрусталя и ложек в шкафах хранятся раковины и окаменелости, собранные Красильниковым во время излюбленных им прогулок по берегам Волги. Кулигин в «Грозе» также любит волжский берег. «Очень хорошо, сударь, – говорит он Борису, – гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое…» – и удивляется поведению обывателей: «…бульвар сделали, а не гуляют». Первое действие пьесы происходит в общественном саду на высоком берегу Волги, за Волгой – сельский вид. Кулигин, глядя на реку, восторгается: «Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса… Пятьдесят лет я каждый день гляжу на Волгу и все наглядеться не могу… Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется… Какая красота в природе разлита». Кулигинский восторг лишний раз свидетельствует, что под именем Калинова изображена Кострома, а не Кинешма, как полагают некоторые островсковеды. Во-первых, в Кинешме на берегу нет и не было общественного сада. Во-вторых, в середине прошлого века, как, впрочем, и сейчас, вид из нее на Заволжье был весьма непривлекательный. До поднятия в 1958 году уровня воды в Волге левый, расположенный против Кинешмы берег являл собою длинную, на версту, сыпучую отмель, захламлявшуюся во время половодий. За отмелью поднималась грязная и лысая Чирковская гора, заслонявшая горизонт.

Зато и общественный сад, устроенный еще в конце 1820-х

годов, и восхитительный сельский вид сам Островский обнаружил в Костроме. В 1848 году он пишет в дневнике: «Подле собора общественный сад, продолжение которого составляет узенький бульвар, далеко протянутый к Волге… А на той стороне Волги, прямо против города, два села, и особенно живописно одно, от которого вплоть до Волги тянется самая кудрявая рощица».

Естественно, что, тонко чувствуя красоту, Красильников испытывал влечение к живописи. П. П. Свиньин, сам академик живописи, подчеркивал, что картины в собрании костромича – «изрядные». Полюбив природу, пишет он, юный Красильников захотел изобразить ее и стал учиться рисовать, а «ныне может уже хвалиться своим умением в рисовке». На покупку картин денег у него не было, тогда умелец научился плести модные в то время шелковые шнурки с кисточками на шляпах и сбывал их в лавке отца. Позднее он стал сам изготавливать и красивые наборные рамы для картин.

У Красильникова были воистину золотые руки. Еще в детстве он любил строить меленки и вообще заниматься «рукоделием». Затем он усовершенствовал токарный станок. Описав помещение, где Красильников хранил свои коллекции, Свиньин продолжал: «В смежной с сею комнате находятся его токарные станки, столярные, слесарные инструменты и пр. – все было в наилучшем порядке и чистоте, наконец, вижу, что на одном простенке, расчерченном в виде часового циферблата, движется стрелка – и это был тот славный хронометр». Данный хронометр, по утверждению Свиньина, первый в Европе, костромич изобрел в 1810-х годах – его чертеж был опубликован в «Отечественных записках».

А. Н. Островский в 1860-е годы

Кулигин назван в «Грозе» «часовщиком-самоучкой». Это действительно была наиболее распространенная профессия среди русских провинциальных изобретателей, с изготовления часов

начал свой путь и знаменитый Кулибин. Красильников в молодости тоже «начал делать деревянные столовые часы, употребив вместо пружины гири, скрытые внутри самой тумбы или пьедестала. Всего более затрудняло его нарезывание зубцов, ибо, не в состоянии будучи купить дорогой машины, употребляемой для сего часовыми мастерами, он принужден был размеривать и выпиливать их от руки подпилком, здесь малейшая неверность имеет влияние на весь механизм часов и потому, для преодоления сих трудностей, потребны в сем деле неимоверные терпение и точность».

Красильников снабжал часами всю Кострому. Еще в 1960-х годов в костромской школе слепых детей, занимавшей старинное здание, выстроенное в начале XIX века богачами Шиповыми, висели большие стенные часы, изготовленные Красильниковым (что подтверждала надпись), показывающие время с исключительной точностью – теперь они в областном музее.

Делал умелец и солнечные часы. По преданию, такие часы были устроены им на бульваре, невдали от беседки – Островский, любивший сидеть в беседке, не мог не видеть их. В «Грозе» есть сцена, как Кулигин уговаривает Дикого пожертвовать десять рублей на устройство часов:

«Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный, дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую, простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение – для глаз оно приятней».

Кулигин согласен «даром положить» на это свои труды. А современники отличали редкое бескорыстие Красильникова – изготовленные им сложные физические приборы он отдавал в училище даром либо за ничтожную плату. На создание таких приборов у него был настоящий талант – первую свою камеробскуру он сделал только по словесному описанию.

Свиньин акцентирует, что свои знания костромич приобрел «одною только любовию, одною страстию к просвещению». С детства он страстно полюбил книги, особенно о красотах вселенной, хотя и не имел достаточно времени для чтения: «Только одно время отдыха, когда возвращался он из лавки, где торговал панскими товарами, дабы быть в состоянии содержать безбедно многочисленное свое семейство, посвящал он чтению и художественным занятиям». Свиньин обнаружил у Красильникова

большую библиотеку, а среди книг «путешествия наших соотечественников, Боннетово Созерцание Природы, множество книг на русском языке по части физики, натуральной истории и гражданской архитектуры и несколько хороших нравственных сочинений». Кулигин тоже человек образованный и книжный, то и дело цитирует в разговоре стихи старинных русских поэтов. «Поначитался-таки Ломоносова, Державина, – объясняет он Борису, – мудрец был Ломоносов, испытатель природы… А ведь тоже из нашего, из простого звания». Эти рассуждения о Ломоносове не случайны. За пять лет до создания драмы газета «Костромские губернские ведомости» провозгласила Красильникова «маленьким костромским Ломоносовым». Автор статьи «Лето в Костроме» А. В. Иванов, удивляясь, что в августе улицы «посеребрены были… только снежною пылью», наивно сокрушался: «Жаль, что теперь нет в живых нашего доморощенного естествоиспытателя, Александра Васильевича Красильникова, который, без всяких сторонних руководителей, с помощью книг и простого русского толка, занимаясь с двадцатилетнего возраста в продолжение сорока лет сряду, приобрел весьма обширные сведения по части астрономии, физики, химии, механики, оптики: он, может быть, нашелся бы объяснить такую несостоятельность в нашей природе».

Вспомним краткий диалог Кудряша и Кулигина:

«Кудряш. Ты у нас антик, химик!
Кулигин. Механик, самоучка-механик.
Кудряш. Все одно».

В городе за Красильниковым закрепилось прозвище «костромского Кулибина», так его рекомендовали и приезжим. Островскому нетрудно было найти ему в пьесе прозрачный псевдоним.

Приехав в Кострому, Свиньин прежде всего обратил внимание на постройки Красильникова – жилые дома с колоннами, колокольни – и поразился, что зодчий всего достиг самоучкой, проштудировав «Начальные основы гражданской архитектуры». Иванов в вышеуказанной статье писал о Красильникове: «Он занимался также и архитектурой, и в этом отношении блестящим памятником его минувших трудов можно, конечно, назвать красивую колокольню Покровской церкви, находящейся у нас в Костроме».

В краеведческом издании 1864 года дается перечень построек Красильникова; к сожалению, только культовых: «Памятниками его архитектурных познаний доселе остаются в Костроме

колокольни: Спаса, что в гостином дворе, Козьмодемьянская, что в Кузнецах, Благовещенская и Покровская, и в селе Селищах церковь Василия Блаженного». Некоторые постройки сохранились до сих пор. В 1979 году восстановлена колокольня Спаса в рядах на центральной площади Костромы – уже она доказывает, что Красильников был очень талантливым архитектором.

Все современники единогласно отмечали тягу Красильникова к изучению природы, к познанию Вселенной. То же самое приписывает Островский Кулигину. Тот цитирует оду Ломоносова «Вечернее размышление»:

Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.

А когда начинается гроза, обращается к толпе:

«Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится – любоваться бы надобно да дивиться премудрости: «С полночных стран встает заря»!.. Комета ли идет – не отвел бы глаз! Красота! Звезды-то уж пригляделись, все одни и те же, а это обновка; ну смотрел бы да любовался!»

Едва ли дикие и кабанихи могли сказать о себе, что они «присмотрелись к звездам» – они привыкли глядеть не на небо, а под ноги, но Кулигин-Красильников в звездах разбирался отлично. Тот же Иванов сообщает: «По смерти своего родителя, Александр Васильевич, будучи двадцати лет от роду, пламенея страстью к науке, решился совершенно оставить торговую часть, продал доставшуюся ему лавку с товарами и посвятил себя исключительно одним ученым занятиям; в последствие устроил в своем доме маленькую обсерваторию, для которой сам же изготовил все нужные инструменты… Особенно приятно было полюбоваться на него, уже почтенного старца, в его собственной обсерватории, где он просиживал нередко целые зимние ночи, благоговейно созерцая великолепную картину звездного неба». Правда, Свиньин о наличии у Красильникова обсерватории ничего не пишет, но, вероятно, она была заведена позднее. Так подсказывают и архивные документы, без изучения которых, даже при наличии печатных материалов, никак не обойтись. В фондах Костромского городского магистрата и городской думы сведения о Красильникове хотя и не часто, но встречаются. В перечне домовладельцев за 1790 год назван Василий Васильевич Красильников, 51-го г., третьей гильдии купец, торговавший

суровским товаром, старожил, женатый на Пелагее, дочери местного купца Алексея Петровича Поспеева, и имевший 16-летнего сына Александра. Следовательно, Александр Васильевич родился в 1774 году.

В 1810 году в списке зданий Костромы в 14 квартале упомянут одноэтажный каменный дом на Пятницкой улице, невдалеке от перекрестка с Московской улицей купца Александра Красильникова, – он, видимо, еще торгует в лавке. Но в 1821 году он значится уже «мещанином», хотя Свиньин застал год назад его купцом. Где-то в это время Александр Васильевич сознательно сделал шаг вниз по социальной лестнице, оставив лавку и записавшись в мещане, к недоумению обывателей. «Самые невежды, ему завидующие (коих никто не избежит, особенно человек с талантом), – констатировал Свиньин, – говорят только между собою, что если бы Красильников не занимался пустяками, а думал бы об одной торговле, то был бы, по способностям своим, – богат и счастлив».

Если в 1821 г. дом Красильникова описывается как просто каменный одноэтажный (он сам выстроил его), то по описанию 1827 г. он уже с мизенетом и подъемным жильем – несомненно, что при перестройке хозяин и соорудил над зданием купол обсерватории.

Через десять лет дом принадлежит Красильникову совместно с младшим братом Алексеем, у которого многочисленная семья – о ней приходится заботиться старшему в роду Александру Васильевичу. А после 1852 года дом продан некоей мещанке Шошиной – весной этого года Красильников скончался, во время холерной эпидемии. К сожалению, не уцелело и его жилище – оно погибло в пожар 1887 года.

Когда умер костромской Кулибин, Александру Николаевичу Островскому было уже под тридцать. В Костроме при жизни Красильникова он находился в 1848 и в 1851 гг., а возможно, бывал и еще не раз. Здесь у него жил дядя, известный краевед Павел Федорович Островский, который хорошо знал и чтил Красильникова. Вот что он писал о нем в книге «Исторические записки о Костроме»:

«Красильников – замечательная для Костромы личность, о которой сказать, хотя несколько слов требует справедливость. Сын костромского купца, торговавшего панским товаром, умного и набожного, пользовавшегося особым расположением одного из преосвященных здешних архипастырей Симона Лагова, Красильников, оставшись после отца двадцати лет полным хозяином, тотчас расстался с торговым промыслом и посвятил жизнь свою, при безбрачии, исключительно ученым занятиям. Без

особого руководителя, одним внимательным усидчивым чтением книг, он приобрел довольно основательные сведения в области науки по части механики, архитектуры, физики, химии, оптики, и астрономии. Над красивым своим каменным домом Красильников устроил для себя малую обсерваторию, приготовив для нее своими руками почти все нужные инструменты».

Такой панегирик Павел Федорович посвятил в своей книге одному лишь Красильникову, выбрав его из сонма замечательных местных уроженцев. Мог ли он, рекомендуя удивительного механика читателям, не свести с ним прежде всего своего племянника-драматурга? Это трудно допустить. При сопоставлении текста «Грозы» с известными материалами о Красильникове возникает даже ощущение, что в диалогах Кулигина и Бориса слышатся отзвуки личных бесед Александра Васильевича с молодым литератором – при характеристике городской жизни, купеческих нравов и т. д.

Есть еще один аргумент в пользу утверждения, что Островский был лично знаком с Красильниковым. Кулигин также ведет себя, и у него такой же характер, каким он был у «костромского Кулибина», – пользуясь чужими словами, такой аутентичности достичь крайне сложно. Для «самоучки-механика» симптоматично совмещение черт смирения и уклончивой покорности с осознанным чувством собственного достоинства, что особенно проявляется в отношениях с Диким. «С него, что ль, пример брать! – спокойно говорит он. – Лучше уж стерпеть». Когда купец грозит отправить его к городничему, Кулигин вздыхает: «Нечего делать, надо покориться!» Однако на вздорную брань Дикого гордо возражает: «Я, сударь, человек маленький, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!» Он и вообще не боится самодура, приступает к нему с настоятельными требованиями о пожертвовании на общественные нужды.

Долгая и полная разочарований жизнь не ожесточила этого мудрого человека, но научила его всепрощению. Выслушав рассказ Тихона об измене Катерины, он советует: «Вы бы простили ей, да и не поминали никогда». А на слова о Борисе: «Расказнить его надобно, на части, чтобы знал…» – отвечает: «Врагам-то прощать надо, сударь!»

Те же самые черты на протяжении всей жизни отмечали современники у Красильникова. В 1820 году П. П. Свиньин, не забыв, правда, упомянуть про «завистников», писал: «Деятельный сей гражданин живет в умеренности, занимаясь благородными трудами, живет счастливо, ибо его уважают все благомыслящие люди не только в Костроме, но и во всей губернии…». А через

несколько лет после смерти Александра Васильевича А. В. Иванов дополнял: «Красильников постоянно отличался примерной нравственностью, редкой скромностью, полною любовью ко всему истинному, доброму и прекрасному».

П. Ф. Островский, будучи протоиереем, оттенил другую его черту: «Нравственный характер Красильникова образовался под влиянием строгого, религиозного воспитания и отличался прекрасными чертами христианского смирения, услужливости и любви ко всему доброму и изящному. Днем Красильников не отказывал никому в своих услугах, а тишину ночи посвящал благоговейному созерцанию звездного неба в своей обсерватории.

А. Н. Островский знал эти источники – дядя работал над книгой в то время, когда создавалась «Гроза», а «Костромские губернские ведомости», где печатались рецензии на его спектакли, он просматривал, но характер его Кулигина все-таки отличался от описанного здесь. Кулигин не просто по-свиньински «счастливый», он «мечтает себе и счастлив», не только меланхолически созерцает небо, но пытается изобрести вечный двигатель для блага общества, в его смирении слышится, особенно в финале, вызов.

«Гроза» написана на восьмой год после смерти механика-самородка, но симпатичный образ Кулигина согрет воспоминаниями драматурга. И пусть этот Кулигин проще и беззащитнее, чем его прототип, в драме ярко показано главное – его духовное богатство, светлая вера в конечное торжество добра и справедливости.

«Атаман Фадеич» – быль, пьеса, либретто

1860-е годы – переломные в развитии России. Поэтому для русской литературы, чутко реагировавшей на все события в стране и стремившейся осмыслить происходящие процессы, эти годы характеризуются углублением интереса к отечественной истории, особенно к истории социальных движений. Исторические романы, исторические драмы, исторические поэмы в изобилии издаются книгами, заполняют страницы журналов, занимают (правда, и прежде тоже занимали) весомое место в репертуаре театров.

В ноябре 1864 года братья Достоевские напечатали в своем журнале «Эпоха» пьесу еще малоизвестного писателя Н. А. Чаева «Сват Фадеич». Пьеса была многозначительно посвящена знаменитому провинциальному актеру Корнилию Николаевичу Полтавцеву, имела подзаголовок «Предание в лицах», а эпиграф «Старина что небылица» как бы подчеркивал, что сюжет произведения не вымышлен автором, а взят из подлинного прошлого. «Действие, – по словам Чаева, – происходит зимою, в дальней, северной губернии», где творит суд и расправу благородный разбойник Иван Фадеевич. Время действия не обозначено, но по косвенным признакам можно конкретизировать его концом XVIII – началом XIX вв. Читатели «Эпохи» – костромичи не терялись в догадках, о какой «дальней, северной» стороне идет речь, и без труда сообразили, что в пьесе описана Костромская губерния. Во-первых, там называются селения Суемы, Закромы, Игрищи, Баклаево, упоминается река Солоница – и селения, и река находятся в Нерехтском уезде. Во-вторых, слишком памятен был всем костромичам – и властям, и просто обывателям – «атаман шайки станишников» Иван Фадеич, хозяйничавший всего полвека назад в лесах и на дорогах Нерехтского и Костромского уездов. В-третьих, многие знали и самого автора Николая Александровича Чаева, нерехчанина по рождению. Незаконный сын тамошнего помещика Нечаева, учившийся в Костромской гимназии двумя классами младше своего знаменитого собрата по перу Алексея Феофилактовича Писемского и тоже, вслед за ним, поступивший в Московский университет, только на юридический факультет, Чаев позднее служил в Риге, а потом в Москве хранителем Оружейной палаты и пробовал себя в литературе и драматургии. В 1862 году он опубликовал пьесу из событий русской истории начала XIV века

«Князь Александр Михайлович Тверской». А вот теперь обратился к событиям недавней истории своего нерехтского края.

Сюжет пьесы, состоящий из трех действий, довольно прост. Кузнец Вакула любит дочь бурмистра Татьяну, но его ненавидит мачеха девушки. Сам же бурмистр хочет выдать дочь за сыщика, присланного исправником для поимки скрывавшегося поблизости разбойника Ивана Фадеевича, который не позволяет бурмистру грабить и притеснять односельчан. Вакула вынужден прибегнуть к помощи Фадеича. Тот заманивает сыщика в ловушку, вызнает его намерения, а затем приказывает связать. Затем он едет к бурмистру, ожидавшему вместо него исправника и обеспамятовавшему от страха, и сватает Татьяну. Бурмистр, боясь расправы, соглашается на брак дочери с кузнецом.

Даже из такого схематичного пересказа явствует, что Иван Фадеич – не заурядный разбойник. В пьесе подчеркивается, что он «ни одной души не погубил», «бедного, ни Боже мой, пальцем не тронет», помогает погорельцам. Когда-то он был жестоко наказан: «Вор торговый, с виселицы» – говорит о нем бурмистр, но сумел бежать из тюрьмы и скрывается целых 20 лет. Так долго Иван Фадеич смог избежать поимки лишь потому, что его укрывают крестьяне, которых он защищает от произвола властей. Из контекста пьесы можно понять, что Фадеич не разбойник, а народный мститель.

Но добродетельному разбойнику Чаев противопоставляет и прямодушного исправника Устина Ивановича. Он служит в уезде недавно, сменив старого – лихоимца, но уже успел заслужить уважительные отзывы крестьян. Прежде всего, он не берет взяток: «У этого исправника ни боже мой, – удивляется один из персонажей. – Писаришки побирают потихоньку, а сам, – не являйся лучше, – в шею вытолкнет». Если исправник пользуется услугами мужиков, то щедро их вознаграждает: «Леснику из Дементьева дал синенькую, мне тоже рублик пожаловал». Кузнеца, наведшего на бурмистра ватагу разбойников, он прощает: «Я взял его на поруки. Люблю молодца и в татарине». Автор неясно намекает, что самого-то Ивана Фадеича исправник ловит неохотно, по обязанности.

Едва ли стоит упрекать драматурга в идеализации. Лучшие и правдивейшие русские писатели XIX века создали немало образов честных и достойных всяческого уважения исправников, заседателей, квартальных. В самое время написания пьесы в глухом Ветлужском уезде Костромской губернии служил исправником из идейных побуждений однокашник Чаева по Костромской гимназии известный литератор и общественный деятель Нил Петрович Колюпанов, ни в малом не запятнавший на

данной службе своей репутации бессребреника и правдолюбца. Однако такие люди были исключением – не они определяли тип провинциального чиновника. Это, конечно, понимал и сам Чаев, вложивший в уста Ивана Фадеича реплику относительно исправника: «Он сам-от барин на чести. Да один. Гляди вот, выживут другие-то».

Пьеса Чаева читалась легко, с интересом и была сценична. Она предназначалась для бенефиса К. Н. Полтавцева, и он постарался скорее получить разрешение на ее постановку, прибегнув к содействию А. Н. Островского. Тот в октябре 1864 года писал в Петербург Ф. А. Бурдину: «Полтавцев просил тебя похлопотать о комедии Чаева». В конце 1864 – начале 1865 г. «Сват Фадеич» с успехом шел в московском Малом и петербургском Александрийском театрах. Один из рецензентов писал: «По нашему мнению, «Сват Фадеич» – пьеса хорошая, серьезная, без бенгальских эффектов, пьеса, про которую с похвалою можно сказать, что «здесь русский дух, здесь Русью пахнет», ибо в ней действительно увидите русских людей не по чудным словам, а по их духу и характеру».

Александр Николаевич Островский в 1864 году сам работал над комедией «Воевода, или Сон на Волге», главный герой которой посадский Роман Дубровин вынужден бежать от притеснений воеводы в те же костромские леса и стать разбойником Худояром. Поэтому тема и демократическая направленность «Ивана Фадеича» была созвучна великому драматургу, а использованные в пьесе народные предания особенно близки. Островский заключил, что пьеса дает благодатный материал для создания на ее основе оперного либретто, куда можно органично вплести собранные в Щелыкове богатые фольклорные источники – песни, пословицы…

Работу над своим «Сватом Фадеичем» Островский начал в 1865 году. 3 декабря 1865 г. он посетил приехавшего в Москву Чаева – очевидно, тогда они окончательно согласовали условия переделки пьесы в оперное либретто.

Симптоматично, что Александр Николаевич обращался с авторским текстом Чаева очень добросовестно. Опытный литератор, он избегал, конечно, рабского следования сюжету пьесы, но сохранил ее остов и канву. Образ главного героя Ивана Фадеича у него обрисован более скупо, чем у Чаева, без каких-либо прибавлений. Вместе с тем Островский заметно усилил демократическую направленность пьесы. Фадеич в либретто предстает открытым заступником за крестьян, которые, в свою очередь, активно поддерживают его в борьбе с властями.

«Как за каменной стеной ты за нами. Знай, гуляй, Только нас

не забывай», – поучает его один крестьянин. Но возможности крестьян ограничены. Островский ввел в либретто сцену, отсутствующую в пьесе, – беседу атамана с мельничихой. Та сетует:

«Нам житья за тобой, бедным сиротам, А беда за тобой ходит по пятам. Накормить, приютить мы тебя не прочь, От беды защитить нам тебя не смочь».

«Знать, тебе не уйти каменной тюрьмы, От людского суда не защита мы».

Чаев в своей пьесе не подчеркивал историческую обреченность борца-одиночки, каким, в сущности, являлся Иван Фадеич, наоборот, вырвав его из ситуации и противопоставив ему не систему власти, а одного доброго исправника, он как бы предлагает читателям и зрителям сделать вывод, что и в будущем атаман сможет благополучно расстраивать все козни против него. Фадеич Островского понимает свое конечное бессилие в борьбе с властями:

Как-то век дожить, домаяться,
Одолели власти земские,
Надоели злые сыщики,
Не дают покоя – отдыха,
Заложили все дороженьки.

Трактовка образа атамана, данная в оперном либретто, звучит исторически достовернее.

* * *

В своей пьесе Чаев намекал, что его Иван Фадеич имеет реального прототипа, о котором сохранились предания в Нерехтском уезде, где он подвизался в недавнем прошлом. Действительно, существование атамана с таким именем можно считать доказанным. В 1861 году в ряде номеров «Костромских губернских ведомостей» был опубликован пространный очерк редактора неофициальной части этой газеты Николая Абрамовича Полушина «Атаман Фадеич», написанный на основании извлеченного из архива судебного дела 1791 года. В очерке приводится подробная характеристика Ивана Фадеича.

Иван Фадеич по прозвищу Хабаров (фамилий крестьяне в XVIII веке не имели) родился в 1758 году в селе Осеневе Ростовского уезда (по соседству с Нерехтским уездом) и был крепостным князя Ивана Дмитриевича Трубецкого. До тридцати

лет он крестьянствовал в своем селе и обзавелся семьею, но в 1788 году, видимо за неповиновение начальству, был сдан в рекруты. В июле этого же года Хабаров, доставленный с рекрутской партией в Москву, бежал оттуда в Польшу, но вскоре перебрался в Малороссию, где с год прожил у какого-то пана Ивана Корнеевича в местечке Чернополе. Соскучившись по жене, беглец решил, невзирая на опасность, вернуться на родину. Осенью 1789 года он пришел на ярмарку в Ростов и там встретил беглого односельчанина Луку Петрова, по прозвищу Жаркова. Однако в первый же день их обоих схватили и отправили под конвоем в Военную коллегию. После очередного побега Иван Фадеич укрылся сначала опять в Малороссии, а в ноябре возвратился домой. В своем селе он, разумеется, находиться не мог, поэтому обосновался поблизости, в селе Подозерье Нерехтского уезда. Пристанище он нашел у тамошнего пономаря Николая Семенова. Проведывать беглеца приходила из Осенева его жена, приносившая ему еду. Проведя так неделю, Иван Фадеич отлучился в Москву, откуда привел с собой в Подозерье старого знакомца Луку Петрова и еще одного беглого, рабочего с завода Сабанина в Екатеринбурге Семена Яковлевича Казанцева.

Очевидно, у скрывавшихся в Москве и вблизи ее беглых была целая организация с неплохо налаженной системой оповещения. Через некоторое время Хабаров стоял во главе целого отряда. К нему пришли беглые рекруты Иван Андреевич Чернов из приказных города Шуи, бывший посадский из Луха Алексей Михайлов, несколько местных крестьян.

Даже официальные следственные документы не отожествляют отряд Хабарова с обычной разбойничьей шайкой, а, наоборот, отмечают антикрепостническую направленность его действий. Следствие не обнаружило ни одного случая грабежа на дорогах, но подсчитало, что за два месяца отряд произвел настоящие нападения на три помещичьи усадьбы, действуя по призыву и с помощью местных крестьян.

Первый такой налет был проведен под самое Рождество 1789 году на усадьбу жестокого и жадного помещика Полозова в сельце Алексине. Наехали ночью. По словам дознания, «пошли к покоям того Полозова – начали ломиться в двери, и, отбив оные, товарищи его (Ивана Фадеевича. – *В. Б.*) вошли в горницы, а он стоял под окном, в кое малолетняя барышня того дома выскочила, но он ее обратно сунул. По входе в покой товарищей его, выбежал крестьянин и закричал, но Иван Чернов застрелил его из ружья до смерти, а прочих в сем доме бывших, связав, бросили в подполье». У Полозова «станишники», как их звали в деревнях, забрали денег 200 рублей серебром и 35 рублей медью

– оброк крестьяне уплачивали обычно медными монетами.

В конце января 1790 года произошло новое нападение отряда на помещичью усадьбу. В деревне Кузнечихе Суздальского уезда проживала дворянка старая вдова Екатерина Мячина, превзошедшая своею алчностью всех окрестных помещиков. Ее собственные крестьяне люто ненавидели барыню. Они-то и призвали в Кузнечиху Ивана Фадеевича и его товарищей.

Как всегда «станишники» действовали внезапно, зная, что Мячина подготовилась к отражению нападения. «Подъехав к ее дому, Фома встал с товарищами на карауле, – гласят следственные материалы, – а он, Фадеев, с товарищами пошли в людскую избу, где, перевязав всех людей, вошли в покои, которые были отперты». Характерно, что Иван Фадеевич действовал в полном единении с крестьянами. Многочисленная дворня Мячиной не оказала ни малейшего сопротивления, хотя была вооружена – «разбойники» забрали в усадьбе два ружья, пистолет, тесак. Кто-то заранее отпер входные двери в барские комнаты. Наконец, упомянутый в документе Фома – это мячинский крепостной Фома Никитин, делегированный в отряд крестьянами.

Сама Мячина на следствии показала, что «разбойники, бив ее, приговаривали, что они приехали отнять у нее жизнь, за разорение будто бы ее крестьянина Макара с детьми за то, что бежал сын его, Макара – Петр».

Власти всполошились, начались поиски становища отряда Хабарова. В зимнее время тому трудно было укрыться. Поэтому атаман распустил своих товарищей, условившись встретиться с ними весной в Москве на Красной площади. Сам он не особенно заботился о собственной безопасности – известно, что Фадеич открыто появлялся в Нерехте и проводил в ней по полдня. Теперь же он, вместе с Лукой Жарковым, отправляется в Мологу, затем в Рыбинск и Ярославль. Проведя там восемь дней, они вернулись в Подозерье, к пономарю. Дом, однако, находился уже под наблюдением – полиция схватила всех его обитателей спящими. У атамана были взяты, среди прочего, ружье, пистолет и сабля.

Суд состоялся в 1791 году. Приговор был традиционно жесток: Ивана Фадеевича и его друзей постановили бить нещадно кнутом, выжечь каленым железом знаки на лбу и на щеках и отправить на каторгу в Сибирь.

Появление очерка Полушина связано с борьбой на местах вокруг проведения реформы по отмене крепостного права. Сама по себе публикация в 1861 году в официальной губернской газете большого сочувственного рассказа о вожаке неудавшегося крестьянского выступления против помещиков необычна. К тому же автор в заключительных словах очерка недвусмысленно и

смело подчеркнул, кем он считает Ивана Фадеевича. Во Франции, пишет Полушин, во время революции 1739 г. были так называемые крестьяне – «поджигатели». И заканчивает: «И у нас на Руси были такие «поджигатели» в виде Фадеича, Разина, Пугачева и прочих». Перечень ошеломляющий!

Знал ли Н. А. Чаев об очерке Полушина? Вполне возможно, не исключено даже, что именно он натолкнул писателя на мысль написать пьесу. Но для разработки ее сюжета он использовал не материал очерка, а слышанные в детстве в нерехтской усадьбе предания о благодушном разбойнике. Недаром ведь и пьеса названа не «Атаман Фадеич», как очерк, а «Сват Фадеич».

Не приходится сомневаться, что Александр Николаевич Островский тоже знал о публикации в «Костромских губернских ведомостях». Именно в середине 1860-х годов, предполагая создать ряд исторических пьес, драматург заботливо концентрирует сведения по истории костромского края. Сделать это было ему несложно – в Костроме проживал его дядя, виднейший краевед Павел Федорович Островский, поддерживающий с племянником родственную переписку. Кроме того, костромичом же был другой его родственник, Павел Иванович Андронников, в 1850-х гг. редактор (до Н. А. Полушина), а потом постоянный автор неофициальной части «Губернских ведомостей». Александр Николаевич часто обращался к нему за консультациями. Зная о работе родственника над либретто, оба костромича-краеведа снабдили его номерами газеты с нужным очерком.

В пьесе Чаева очерк Полушина не оставил почти следа, но анализ текста либретто Островского показывает, что «Атаман Фадеич» был для него источником, откуда заимствованы данные о Фадеиче, как народном вожаке. Сообщение Полушина о сравнительно быстрой поимке атамана, который, согласно Чаеву, успешно ускользнул от преследования на целых двадцать лет, обусловил сквозивший в либретто мотив исторической обреченности крестьянского бунтаря.

Биография Ивана Фадеевича Хабарова осталась у Н. А. Полушина недосказанной, либретто Островского – не завершено, существует лишь его черновой вариант. Причин тут несколько. Драматург, кажется, так и не нашел композитора, который бы заинтересовался либретто. И сам он утрачивает к нему интерес, увлекшись работой над исторической хроникой «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», о которой в марте 1866 года писал Н. А. Некрасову, что «это составит эпоху в моей жизни». Завершение хроники, в свою очередь, вызвало недоразумение с Н. А. Чаевым. Тот в 1865 году написал

собственную пьесу «Дмитрий Самозванец», которая была принята к постановке на сцене прежде произведения Островского. Ставить одновременно две одноименные пьесы было для дирекции театров затруднительно. Островскому пришлось приложить много усилий, чтобы добиться снятия со сцены московского театра драмы Чаева и замены ее своей хроникой. Это привело к охлаждению его отношений с Николаем Александровичем и сделало неудобным опубликование либретто.

Но костромская эпопея Ивана Фадеевича не завершилась его поимкой в 1790 году. Известный дореволюционный костромской краевед Иона Дмитриевич Преображенский (1857–1915) собрал сведения о его дальнейшей судьбе – записи сохранились в его архиве. Очевидно, краевед пользовался не только документальными источниками, но и опросил старожилов. Он записал, что Хабаров еще в молодости отличался непокорством, что, став атаманом, «не обирал бедных, а грабежи устремлял на купцов и помещиков, на дома последних устраивал ночные наезды». Подробнее излагаются обстоятельства ареста: «Только легли спать, наехало для поимки их многое число народа». Схваченный атаман дожидался суда в костромском остроге.

В начале XIX века Хабаров бежал из Сибири и вновь вернулся на родину. Но теперь он перенес свои действия в костромскую усадьбу Скалозубово и село Селифонтово, где нашел надежное убежище в доме мелкопоместного дворянина Ивана Панкратьева. Он по-прежнему не обижал простой народ и даже помогал нуждающимся, но его поступки утратили антикрепостническую направленность – атаман собрал шайку удальцов и грабил богачей большей частью на оживленном Галичском торговом тракте.

Иван Фадеевич благополучно избегал всех расставленных ему властями ловушек до тех пор, пока земским исправником Костромского уезда не был избран Ягнетев. Видя, что атамана просто так не поймать, новый исправник велел семифонтовскому соцкому вступить в его шайку и доносить о ее намерениях. Однажды Фадеич узнал, что по тракту из Костромы поедет богатый купец. Он решил поджидать его на десятой версте от Костромы у моста через речку Буян. Исправник незаметно разместил на опушке густого леса две роты солдат, а сам выехал переодетым вместе с купцом на паре. Когда повозка подъехала к реке, разбойники выскочили из-под моста. Тогда окружившие мост солдаты перехватили их, а Фадеич скрылся в выкопанной им пещере у реки. Разожгли костры, вход в пещеру раскопали. Атаман выбежал из нее с ножом, но исправник выбил у него нож из рук шашкой. Пойманного Фадеича наказали плетьми и

вернули в Сибирь.

Записки Преображенского сделаны в прошлом веке. Что из них можно проверить сейчас? По-прежнему Галичский тракт, залитый ныне асфальтом, пересекает на одиннадцатом километре ложбина, в которой течет совсем уже узкая речка Буянка. Старожилы рассказывают, да и по документам видно, что по сторонам тракта стоял густой «Посадский» лес, вырубленный на отопление Костромы в годы Великой Отечественной войны.

Теперь исправник Ягнетев. Александр Петрович Ягнетев, из отставных военных, храбрый участник войны 1812 года, действительно был исправником Костромского уезда до 1822 года. Он прославился своей необыкновенной распорядительностью, крутым характером, огромной физической силой и справедливостью. По территории бывшего Костромского уезда проходят старинные Вятский и Нижнегородокий тракты, по бокам которых кое-где уцелели вековые березы. «При Ягнетеве посажены», – утверждают жители придорожных деревень, забыв, однако, кто такой Ягнетев и когда он жил.

Персонажи пьесы Чаева говорят об исправнике: «толстый», «здоровенный барин, буря: на медведя-то один с рогатиной вышел». Таким, по воспоминаниям, был и Ягнетев. Его-то драматург и вывел под именем Устина Ивановича. Действие пьесы больше ретроспектируется на историю поимки Ивана Фадеевича Ягнетевым где-то в 1810-х гг. – ведь и сыщик Халкидонский напоминает о подосланном соцком.

После повторного ареста Хабаров все-таки не сгинул в Сибири, а через какое-то время опять бежал оттуда. В костромских краях атаман больше не появлялся. И. Д. Преображенский записал только, что последний раз Фадеича видели на ярмарке в Нижнем Новгороде в 1838 г. Ему было тогда 80 лет.

Почти на целый век раньше появления «Свата Фадеича» русский писатель родом из мелкопоместных галичских дворян Александр Онисимович Аблесимов написал на костромском материале первую отечественную комическую оперу «Мельник, колдун, обманщик и сват». Случайно ли Чаев, давая название своей пьесе, допускал его перекличку с названием известного произведения Аблесимова? Думается, нет.

Прощание с Высоковом

Все, о чем идет речь ниже, происходило в июне 1976 года, но сначала несколько вводных фраз…

Столетиями была Россия сельской страной. К концу XVIII в. небольшие поселения, преимущественно в шесть – девять дворов, рассыпались в костромских местах повсюду – чаще в пределах видимости, самое дальнее – через две-три версты друг от друга. В сторонке от деревень, но поблизости, стояли помещичьи усадьбы с парками, прудами и винокурнями, на семь-восемь деревень приходилась церковь с колокольней, тоже нередко поставленная наособицу, «погостом».

Целый сонм деревень окружал некогда и сельцо Щелыково. Кое-какие существуют и ныне: Василево, Ладыгино, Фомицыно, Лобанове. Иных уж нет – всесильный процесс урбанизации смахнул их в 1950–1970-е годы с лица земли. Где теперь селения, столь известные Островскому: Пахомцево, Субботино, Филипцево? Тихо угасает красивая деревушка Кудряево, в старину ласково именуемая жителями Кудрявая. Опустело Бужерово над Мерой. Процесс этот закономерный, необратимый. Так надо. Однако мы, современники, прощаемся с пепелищами наших прадедов с понятной, простимой и немного щемящей грустью, повторяя прочувствованные слова мудрого поэта:

Не говори с тоской: «Их нет»,
Но с благодарностию: «Были».

Альберт Лехмус, заезжий фотокорреспондент журнала «Смена», жизнерадостный, могучий и чернобородый, поднял меня, как с вечера уговорились, в начале шестого:

– Пойдемте!

Выпив наспех кружку молока и прикинув, что при такой обильной росе не обойтись без кирзовых сапог, я вышел вслед за Лехмусом на щелыковскую «прогулочную» аллею. Солнце уже поднялось над деревьями – день, судя по всему, обещал выдаться погожим и ласковым. Прошли мимо решетчатых ворот усадьбы. Вдруг Альберт остановился как вкопанный:

– Надо же. Наконец-то! – И тут же, выхватывая на ходу аппараты, один, второй, третий, ринулся в высокую траву, прямо в росу, фотографировать. Оказывается, он который день не мог поймать момент, когда солнце освещает северный фасад старой усадьбы, окруженной деревьями.

Пошли дальше. Мой спутник задерживался, фотографировал парк и речку, я тогда искал места присесть, вспоминал, что тут связано с Островским. Ведь по его излюбленному маршруту идем, его путем-дорогой.

Сто лет назад и он в это время шагал, нагруженный удочками, на омут к Тарасихе.

…Миновали мост через Куекшу, Кутузовку. От прежней деревни сейчас остался один дом. Живут в нем тетя Шура и Иван Федорович Смирновы, пенсионеры, но летом дежурят у шлагбаума. Островский когда-то постоянно в Кутузовке бывал, заходя ли посидеть, проезжая ли мимо по дороге. Не по сегодняшней, заасфальтированной, а по узкому проселку через густой лес. По тому самому, о котором сестра драматурга Надежда Николаевна писала: «Дорожка так узка, что на сидящих в санках с деревьев сыплются хлопья снега».

Лес нехотя расступился только на месте встречи проселка с прежним Галичским торговым трактом, давно переименованным в шоссе Заволжск – Островское. Пилоны по сторонам, на них повешены доски, разъясняющие, что здесь – въезд в Музей-заповедник «Щелыково», принадлежащий с 1953 года Всероссийскому театральному обществу. Каменные неуклюжие пилоны удивительно не к месту.

А как здесь было при Островском, лет сто назад? Припоминаю ремарку во втором действии «Леса»: «Лес; две неширокие дороги идут с противоположных сторон из глубины сцены и сходятся близ авансцены под углом. На углу крашеный столб, на котором, по направлению дорог, прибиты две доски с надписями; на правой: «В город Калинов», на левой: «В усадьбу Пеньки, помещицы г-жи Гурмыжской». У столба широкий, низенький пень, за столбом, в треугольнике между дорогами, по вырубке мелкий кустарник не выше человеческого роста». Значит, Пеньки – усадьба Щелыково, Калинов, где у Островского жили Катерина из «Грозы» и Параша из «Горячего сердца» – Кинешма. По воспоминаниям, на столбе, действительно стоящем на этом перекрестке, были прибиты доски-указатели с надписями: «В город Кинешму» и «В усадьбу Щелыково, имение господ Островских». Что же касается вырубки, то сосняк между Кутузовкой и большаком был продан на сруб Эмилией Андреевной Островской, и в 1871 году, когда писалась комедия, там рос лишь мелкий кустарник. А актеров, проследовавших «своим ходом» через перекресток, было в самом деле немало, только они шли не в Керчь или в Вологду, а уверенно повертывали в сторону гостеприимного Щелыкова. И Островский не раз нечаянно встречал таких визитеров на повертке…

Проселок, уже вовсе разъезженный, разбитый тракторами, уводит в настоящий лес. В знаменитый Угольской лес, Островским шутливо именуемый «Кобринским бором». Это, и вправду, прежде был огромный и дремучий бор. В 1870-е годы его вдоль и поперек обошел выдающийся охотовед и кинолог Леонид Павлович Сабанеев, гостивший в соседнем Угольском у своих двоюродных братьев. Тогда ближний к селу участок леса так и назывался «Сабанеевским». Сейчас в сосняке, слева от дороги, звенели ребячьи голоса – там пионерский лагерь Заволжского химического завода им. Фрунзе «Берендеевка». Справа же, где смешанный перелесок, принадлежавший прежде Островским, звонко щебетали птицы.

Лехмус не обращал на меня внимания – его отвлекал расстилавшийся перед нами новый пейзаж. Широкий и отлогий зеленый склон скатывался на север, к селу Угольскому. Справа промеж деревьев проглядывалась закрытая за недостатком детей земская школа, с другого края склон плавно переходил в поля. Альберт самозабвенно защелкал фотоаппаратами, я отошел подальше от него, устроился за оригинальным, пузатым и совсем ветхим амбарчиком на усыпанной цветами лужайке. Пересчитал на досуге избы – пять всего. В самой маленькой, крайней к оврагу, одиноко доживает век бабушка Мухина, ее домик отделен от прочих заброшенной дорогой, за которой два дома вразброс, а еще два – за церковным холмом. Хозяева уже переселились в Щелыково, и только летом живут в паре изб столичные дачники.

А ведь Твердово – одно из старейших и крупнейших сел лесного Заволжья. Это древняя богатая вотчина костромского боярского рода Годуновых, оплот их земельных владений по течению Меры. И хотя люто пострадало село в лихолетье начала XVII века, но-таки оправилось. И в упомянутом описании 1629 года мы читаем: «За стольником за Алексеем Никитичем Годуновым в вотчине село Твердово на речке Сендеге, да к тому же селу припущено в пашню пустошь, что в Прудовке на реке Прудовке… в селе церковных дворов поп, дьячок, пономарь, просвирня. В селе же двор вотчиный, приказчика, да деловых людских дворов 10». Годуновская вотчина была громадной, включала и Семеновское-Лапотное, но ее центр находился в Твердове. И история села славная, содержательная, овеянная преданиями седой старины.

К середине XVII века Годуновы извелись, и село пошло в раздел к родам Ляпуновых, Кутузовых и князей Лобановых-Ростовских. В XVIII в. на смену им появились Витовтовы и генерал-аншеф князь Петр Иванович Репнин. Знаменитый род Репниных долго владел Твердовом, и знатные князья, судя по

документам, езживали и сами в свою отдаленную вотчину. Другой же половиной Твердова прочно завладели Кутузовы – в 1847 году их часть села в составе щелыковского имения приобрел отец драматурга Н. Ф. Островский. Селение постепенно хиреет, т. к. твердовская вотчина дробится – в середине прошлого века проживало там сорок крестьян. Все они были теснейшим образом связаны с Щелыковом, с драматургом, почти все работали в усадьбе.

Александр Николаевич одно время вел книгу хозяйственных расходов. И в ней нередки такие записи: «Наталья (Твердовская). Старого долгу 15 коп. Взято 25 коп.». Но долги обычно прощались.

Старушка Дарья Михайловна Теплова из Твердова вспоминала в 1930-х годах: в страдную пору украли двух лошадей у ее отца Михаила Филипповича. Островский, узнав о беде, позвал его в усадьбу, и произошел такой разговор:

«Теплов. Александр Николаевич, я пришел. Вы велели побывать.

Островский. Нашел ли ты своих лошадок?

Теплов. Нет, не нашел.

Островский. Как же ты будешь работать?..»

Беседа закончилась тем, что драматург дал крестьянину 40 рублей: «На вот, купи лошадь». Тот сторговал хорошую лошадь за 35 рублей, а 5 рублей, говорила старушка, еще остались на хозяйство.

В июле 1875 года Твердово постиг опустошительный пожар. А вскоре Михаил Николаевич Островский писал из Петербурга брату: «… с грустью узнал о несчастье, постигшем Твердово. Очень рад, что ты помог погорельцам во всем, в чем было можно». Помог деньгами, одеждой, скотом, лесом.

Лес Островских подступал к самому Твердову, и твердовские крестьяне чистили его, получая за это сушняк. По словам старожилки Евдокии Петровны Тепловой, иной крестьянин столько леса наберет, что «всю зиму и продает на базаре в городе». Самим Тепловым Островский неоднократно помогал и деловым лесом: «Мы три раза строились».

Я поискал глазами избу Евдокии Петровны – вот она, только совсем покосилась. Правда, это не та изба, в которую много раз захаживал драматург, – та сгорела в 1920-х годах: «У нас, – вспоминала Евдокия Петровна, – был альбом с фотографиями. На них сам Островский надписывал. «Светопись» называется. В альбоме снимки были об уженьи рыбы, о покосе, как мы жали,

фотографии Верховского (приятеля драматурга, ивашевского волостного писаря. – *В. Б.*) и их самих… Сгорела и книжка от них его сочинения».

Однако не с одними Тепловыми был близок в Твердове Островский. Так, он очень ценил удалую работницу Пелагею Дмитриевну Булкину и даже сочинил о ней песню. За многих неимущих твердовских крестьян он уплачивал недоимки. И недаром 83-летняя Екатерина Павловна Корчагина на вопрос литературоведа профессора А. И. Ревякина об Островских без колебаний ответила:

– Плохи ли люди! Таких людей поискать! Кто скажет о них плохо? Островские были господа хорошие, к народу милостивые. Обращались с крестьянами очень хорошо. Когда к ним шли с просьбами, с нуждами, никогда не отказывали.

…Лехмус закончил свой кропотливый труд, и мы вышли за село, на озими. Уже заглохшая тропинка вилась серпантином меж кустов, окаймляющих слева узкое и вытянутое поле, кое-где в топких местах хлюпали под сапогами сгнившие жердочки. Потом тропа юркнула в лесок, и, продравшись с трудом через чащобу, мы наткнулись на железнодорожную насыпь.

До этого мы знали и даже физически почти ощущали, что следуем по пути, который за сотню лет до нас многократно совершал большой любитель пеших странствий Островский – так или примерно так все здесь было и при нем. Но насыпи при нем не было – она появилась совсем недавно.

Взобрались на песчаную насыпь. Впереди, приблизительно в полукилометре, открылась деревенька, стоящая к насыпи околицей и задами изб – справа ее огибал неглубокий распадок. Ядовито-синие ящики для баллонов с газом у боковых стен акцентировали приобщение деревни к современной цивилизации.

– Худяки, – пояснил я спутнику, – когда-то сабанеевское имение. Домов пять жилых, по крайней мере.

– А так странно называются почему?

– Трудно отгадать. У соседнего селения сходное по звучанию название – Маркуши. А Худяки в документах первой половины XVIII века упоминаются, и в 1813 году владелица Щелыкова Прасковья Кутузова унаследовала их вместе с землей на Исаковке. Потом они достались ее сестре Сабанеевой.

Улицы, собственно, у Худяков нет – избы поставлены вроссыпь, но передом к Порнышевке – худосочному ручью под обрывом. Мы форсировали ручей по доске, положенной на негодные автомобильные покрышки, вышли из уремы и снова очутились на ржаном поле. Его охватывали две дороги, предоставляя возможность выбора – мы предпочли правую,

малохоженную. Она изогнулась дугой, обведенной с наружной стороны рощицей. Роща отступила, образовав кулижку, осыпанную колокольчиками и полевой геранью, – Альберт ползал по ней, чуть не на животе, не менее получаса, так что я стал ворчать. Потом дорожка спряталась в лиственные перелески. Обходя лужи, до краев наполненные теплой водой, мы незаметно вышли из леса и оба невольно ахнули. Все пространство перед нами покрывали высокие люпинусы, синие и белые, являя удивительно красочную картину. Над нашими головами низко летал, надсадно крича, здешний старожил – чибис. Впереди притаилась деревня.

Я не узнал ее и на традиционный вопрос фотокорреспондента о названии недоуменно и виновато пожал плечами, тщетно напрягая память. Неужели сбились с дороги? Что это за селение – уж не Ефимово ли? Только вообще-то мы должны бы оставить его слева, за увалом. Да и деревня насквозь пустая, а в Ефимово, по слухам, приехали на июнь московские художники. Они ныне и блюдут его. В сознании мелькнуло доброе слово «починок». Так при Островском именовалось Ефимово. Основал его в середине XVIII века крепостной кутузовский крестьянин Ефим, а в конце века населяло починок 34 жителя: «Положение имеет на суходоле, водою там жители пользуются для питья из ключей, а портомоем из реки Меры» – точь-в-точь как в Щелыкове. Позднее принадлежало Ефимово тем же Сабанеевым. Двести лет существовала деревня, какие чертоги там строились! Помню внушительный пятистенок из толстых бревен с светелкой и балконом Саши Смирнова, еще до революции перевезенный сюда из Порныша – на века был срублен, а простоял, когда его бросили, всего года три. Не рушил никто – сам завалился.

Нет, при чем тут Ефимово! Другая какая-то это деревня! Впрочем, вон памятный столб, какие вкопаны Музеем-заповедником повсюду вокруг Щелыкова. Подошел, приминая полынь, прочел надпись и не поверил глазам: «Деревня Высоково».

Деревня Высоково. Архивное фото

Постепенно стал я узнавать прежнюю деревню. Были две причины, что не сориентировался на местности сразу. Первая – раньше видел ее только жилой. В Высоково впервые я попал в начале шестидесятых годов: скрипел колодец, из-за плетней огородов выглядывали подсолнухи, за околицей паслись белые и чалые лошади, на лавочках сидели люди. В каждый из последующих моих приходов их становилось все меньше, но деревня жила. Вторая причина – прежде я всегда приходил в Высоково по торной дороге от Ефимова. С краю стояли две избы в одной связи Ефима Павловича Туманова, бывшего председателя высоковского колхоза. Он дольше всех держался за Высоково. Односельчане уже покинули деревню, а он, и оставшись один, подрубил у избы два новых венца, будто рассчитывал прожить в ней долгие годы. Наконец и Туманов не вытерпел зимнего сиротливого одиночества и бездорожья и перебрался в Заволжск…

Высоково – любимое селение Островского в Кинешемском уезде. Наиболее отдаленная часть его имения, а приезжал сюда он чаще, чем в иные, ближайшие к Щелыкову места. Сам объяснил причину этого, написав друзьям в первый же майский приезд 1848 года восторженные слова: «Что за реки, что за горы, что за леса!.. На юг от нас есть, верстах в пяти, деревня Высоково, из той виден почти весь Кинешемский уезд. У этой деревни течет Мера – что это за удивительная река! Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он бы давно превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии».

Еще в одно из прошлых появлений я легко отыскал место, где

только и мог встать Александр Николаевич, окидывая взглядом «почти весь Кинешемский уезд» – мысок у крутояра, за последней к югу избой Мальчугиных. Не берусь, правда, утверждать, что видна отсюда территория целого уезда – ведь писатель в минуту вдохновения парит под облаками и все видит мысленным взором, но действительно приподнятое над местностью Высоково представляет из себя один из лучших уголков на Мере. Какой отсюда умопомрачительный вид вдаль или вниз на реку! Ровный, отлогий, долгий-долгий спуск кончается у Меры. Летом он покрывается сплошным ковром ромашек и мелких колокольчиков. Ниже, у берега Меры, преобладают гвоздики, смолка и с детства знакомый цветок с мохнатой сиреневой шапкой и тоже с детства позабытым названием – на нем любят сидеть шмели. В облачный день луг поминутно меняет цвет – весь сиреневый, даже розовый на солнце, он в тени делается малиновым.

Мы спускались к Мере по правому краю склона, где когда-то, судя по старым фотографиям, толпилась целая дюжина сенных сараев – от них не осталось и руин. Тут в реку впадает узенький ручеек – его устье перегородила полузатопленная сгнившая лодка, зачем-то прикованная цепью к стволу прибрежной ивы. Опять вспомнилась та же строчка Николая Рубцова: «… И лодка моя на речной догнивает мели».

Течет Мера у Высокова спокойно, имея метров сорок в ширину. Оба берега низкие. В воде гулко плещется рыба. Есть описание XVIII века: «Река Мера в летнее время шириною бывает в семь сажен, а глубиною в два аршина, в оной реке рыба: щуки, окуни, налимы, голавли, плотва». Семь сажен – около 15 метров, однако сейчас в связи с поднятием Горьковской ГЭС уровня воды в Волге и ее притоках стала Мера глубже и вдвое шире. Не перевелись в ней и окуни, плотва и щуки – даже судак ловится.

Островский был завзятым рыболовом и регулярно снаряжал экспедиции под Высоково на Меру, разработав для подобных вылазок настоящий шутливый ритуал. Секретарь драматурга в 1880-е годы Николай Антонович Кропачев писал, что ему «не без некоторого юмора и довольно увлекательно Александр Николаевич рассказал о своем времяпровождении в Щелыкове. Когда задумывалось ловить в Мере рыбу сетью, в Щелыкове заведено было так: первым на телеге едет «морской министр». «Министр» этот не кто иной, как псаломщик из соседнего села Бережки, Иван Иванович, в подряснике и широкополой шляпе, из-под которой, как крысий хвостик, торчит тонкая косичка. «Морским министром» он назван потому, что был руководителем и распорядителем всей охоты вообще. За «министром» едут гости

и семейство Александра Николаевича. На облюбованном для ловли месте раскладывают шатры. Начинается лов. Первым лезет в воду «морской министр», направляя сеть, за ним крестьяне в рубахах и портах; иначе нельзя, потому что есть дамское общество. Вода в Мере до того холодна, что, несмотря на самый знойный день, ловцов прошибает «цыганский пот», то есть по выходе из воды зуб на зуб не попадает от дрожи. На берегу для ловцов уже все готово: пироги, закуска и в изобилии водка».

Высоково было тогда порядочной деревней, с двумя рядами изб, в рыбной же ловле принимали участие постоянно пять-шесть крестьян: Абрам Алексеевич Лебедев, Александр Павлович Мальчугин, братья Петр и Николай Соболевы, Егор и Михаил Семеновичи Тепло-вы – все знакомцы, давние приятели драматурга. Приходили пособить и несколько мужиков из Ефимова, благо оно рядом. Забавно, что в экспедициях участвовал М. Н. Островский, «всамделишный» министр и статс-секретарь, – желание Александра Николаевича подтрунить над ним и явилось отчасти причиной присвоения бережковскому дьячку титула «морского министра».

Пешком Островский ходил из усадьбы в Высоково довольно часто, а экспедиции отправлялись две-три за лето. Кортеж из нескольких повозок, на последней из которых тряслись пустые бочонки и лохани для рыбы, выезжал из Щелыкова рано утром, направляясь через Твердово и Худяки. Возвращались обратно, спасаясь от комарья, под вечер и нередко дальней, но удобной для проезда дорогой – через Ефимово, Бужерово и Угольское. Рыбы в усадьбу привозили всякий раз довольно – ели ее и свежей, и солили, и вялили, но главное разве в улове! Главное – сама пятиверстная поездка дружной компанией, наслаждение прекрасным видом с высоковского косогора, забрасывание сети, костер. Лехмус закончил снимать, и мы продвинулись тропочкой вверх по берегу Меры. Немного, на каких-то двести метров. Опять лужайка с люпинусами, стройная сосенка, горделиво стоящая на пригорке по-над самой водой – ах, если бы без всякой нужды не обдирали на ней кору и не затесывали топором ствол безжалостные рыболовы, – резкий излом реки. На противоположном берегу склонились над водой ветлы, ивняк, за ними сосны в несколько ярусов. Там прославленный реликтовый «Зачарованный бор» с голубым мхом. На нашем берегу – цветущий куст калины. Пышные бело-желтые шапки соцветий, идеально прямые длинные стволы. Умаляется, гибнет эта горькая ягода в окрестностях Щелыкова – видимо, усиленно вырубают ее на жерди и удилища. Теперь кусты калины редко где встретишь, а сколько ведь ее здесь было во времена Островского.

Место, где Мера делает загогулину, издавна прозывается «Печкой» (есть на Мере и «Кринка» – выше по течению, у Рыжовки). Тут и ловил драматург рыбу. Снизу «Печки» излучину (она сто лет назад была поуже) загораживали сетью, а мужики и охочие из приезжих гостей, чаще актеры – Иван Егорович Турчанинов, Костя Загорский, – по команде «морского министра» лезли в реку сверху и «ботали», пугая рыбу криками и плеском. Шатры же ставили на лугу ближе к Высокову, на самом берегу жгли и костры, варили в котле уху.

Все это было, было, было…

Выходя из Высокова, я за околицей обернулся к бывшей деревне. Избы без окон и дверей, с провалившимися крышами, казалось, обреченно прощались с нами. И я, неожиданно для самого себя, попросил Лехмуса:

– Пожалуйста, снимите отсюда всю деревню. Возможно, это будет последняя фотография Высокова вообще.

Альберт готовно потянулся к фотоаппарату с широким объективом.

* * *

Снимок действительно оказался последним. Весной 1977 года оставленное жителями Высоково подожгли, озоруя, захожие туристы – «дикари». Деревни не стало. Но она запечатлена в жизни и творчестве великого драматурга, оставила крохотный, но следок в русской литературе. По-прежнему течет Мера, плещется в «Печке» сорога, цветут в июне ромашки и гвоздики на чудном склоне, шумят замерские «зачарованные» леса. И нам сохранена счастливая возможность пройти туда из Щелыкова путем-дорогой Островского, увидеть и порадоваться именно тому, что видел здесь и чему радовался он.

Памятник

Этот бронзовый щелыковский Александр Николаевич – человек на закате жизни, старше того знаменитого Островского, который покойно сидит в кресле у Малого театра в Москве. Здесь он попроще – без шапки, вовсе почти облысевший, но с густыми усами и бородой. Одет в расстегнутый то ли сюртук, то ли в пальтецо с длинными фалдами прямо поверх рубахи-косоворотки. Брюки напущены на остроносые сапоги. Он, очевидно, гулял, устал и вот – отдыхает на скамье у дороги, удобно откинувшись на дощатую спинку, правой рукой придерживая на колене взятую с собой и раскрытую книгу, но не читает ее, а задумчиво смотрит вперед. Перед драматургом усадьба – он еще посидит, отдохнет и неторопливо проследует по песчаной дорожке к близкому уже дому.

Памятник поставлен за прогулочной аллеей, точно напротив въездных ворот в усадьбу. До 1928 года на этом месте стоял двухэтажный деревянный амбар кутузовских времен, перенесенный в качестве жилого корпуса на территорию дома отдыха и ныне звучно именуемый французским словом «шале»; потом кузница… Позади памятника лобановское поле, на его фоне трехметровый монумент не выглядит чересчур громоздким. Не кажется он и тяжелым – семитонная металлическая фигура на прямоугольном гранитном пьедестале. Памятник вписался в естественный щелыковский пейзаж, стал его привычным элементом, как сам дом, ворота, березовая и еловая аллеи, прясла в поле. Стал с праздничного 14 июня 1973 года. Тогда в Музее-заповеднике «Щелыково» отмечался 150-летний юбилей со дня рождения великого драматурга. К нему и приурочили открытие памятника, отлитого на ленинградском заводе «Монументскульптура» и только что доставленного в усадьбу. Сергей Михалков от Союза советских писателей и Михаил Царев от Всероссийского театрального общества сдернули белое штапельное покрывало, и перед глазами сотен собравшихся в этот погожий день на аллее людей предстал Александр Николаевич Островский. Предстал таким, каким его увидел скульптор Алексей Тимченко.

Скульпторы не раз создавали образ драматурга. Первым это сделал его друг Рамазанов в 1850-е годы, потом – в 1880-х годах – Бах, Кафка. Но это все были небольшие бюсты – гипсовые, бронзовые. В столетнюю годовщину со дня рождения Островского был объявлен конкурс на лучший проект его памятника для Москвы. Конкурс уверенно выиграл находившийся в расцвете

творческих сил Николай Андреев, и через шесть лет, в 1929 году, его памятник был торжественно открыт у Малого театра.

Щелыково долго ждало своего памятника драматургу. Первый был воздвигнут еще в 125-летний юбилей Островского, в 1948 году. Создала его художник-бутафор Малого театра Надежда Маркова. Это была типичная работа любителя – гипсовый бюст на кирпичном постаменте, а установили его невдали от мемориального дома на площадке бывшего конного двора – вокруг разбили цветники и посадили сирень, которая там прижилась. Потом бюст перевезли в поселок Островское, где он ныне стоит в центральном сквере.

В 1956 году скульптор Николай Саркисов создал для Щелыкова новый памятник – бронзовый бюст, укрепленный наверху круглой колонны из темного головинского лабрадора. Памятник, изображающий драматурга в его лучшие годы, был прост и выразителен. Но его необдуманно поставили у самого дома-музея, перед пихтовым кругом, и такое местоположение вскоре стало мешать восстановлению мемориального облика реставрируемого ансамбля усадьбы. Да и хотелось видеть в Щелыкове изображение Островского во весь-таки рост, в полную величину. Поэтому в 1968 году саркисовский бюст перевезли в Кострому к зданию областного драматического театра им. А. Н. Островского.

Между тем еще в начале 1950-х годов был организован всесоюзный конкурс на лучший проект нового памятника Островскому. На нем довольно, на первый взгляд, неожиданно первое место было присуждено проекту ленинградского скульптора Тимченко.

И вот в Щелыкове появился новый человек – с острым взглядом из-под очков, выше среднего роста, худощавый, с резкими чертами лица. Алексей Павлович Тимченко, скульптор. Быстро подружился с сотрудниками музея. Потом он рассказывал им:

– Творчество великого драматурга всегда меня волновало – особенно его пьесы «Без вины виноватые», «Бесприданница», «Гроза». Поэтому, когда в 1952 году был объявлен конкурс проектов памятника Островскому, включился в него с удовольствием. На конкурсе был принят мой проект. Памятник вначале предполагалось воздвигнуть в Ленинграде, у театра Ленинского комсомола. Но ведь Островский – не петербуржец. Тогда решили делать для Кинешмы – я выезжал туда. В 1957 г. перевесила кандидатура Костромы – и там побывал. В 1970 г., незадолго, значит, до юбилея, дошла очередь Щелыкова. Сделал эскиз – одобрили. Но щелыковский проект уже иной – в первом,

«городском» варианте Островский сидел не на скамье, а на стуле. В щелыковском памятнике мне хотелось подчеркнуть спокойствие драматурга – сидит, думает. Это Островский в 1880-е годы. Пушкина можно изображать и юным – у него короткая жизнь, но Островского я бы не стал делать молодым. К тому же именно из Щелыкова он ушел в вечность.

О себе Алексей Павлович рассказывал кратко.

– Родился в Баку в 1913 году в семье токаря. Кончил школу, потом художественный техникум с педагогическо-оформительским направлением. В 1935 г. поступил на подготовительные классы Всероссийской Академии художеств, а через два года – и в саму Академию. Учился у профессоров А. Т. Матвеева и В. А. Синайского. Учебу прервала война: был в ополчении на Карельском перешейке, блокаду провел в Ленинграде. В 1946 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Тогда же приняли в Союз художников.

Весь творческий путь Тимченко связан с Ленинградом – там, на Песочной набережной, его мастерская. Первая замеченная работа Алексея Павловича – скульптура «Олег Кошевой» – сейчас она в городе Сумы. Потом были десятки произведений: «Верхолазы», «Токарь-карусельщик», «Сталевар», «Строительница», «Наш современник»…

Позже Алексей Павлович сетовал, что все-таки не чувствует полного творческого удовлетворения. Слишком короткий срок был выделен на создание памятника – не смог довести идею до конца. Но творил он самозабвенно, сутками не выходил из мастерской. К вечеру отекали ноги, не мог согнуться – разувала его дочь. Главное, что волновало Тимченко, это воспроизведение облика драматурга. Он заполучил переснимки со всех имеющихся прижизненных фотографий Александра Николаевича, сделал массу выписок из мемуаров современников. Из мозаичных кусочков для него постепенно складывался и прояснялся образ великого писателя.

И. Ф. Горбунов в 1849 году видел Островского «белокурым, скромным, франтовато одетым»; солидарен с ним и другой мемуарист, утверждавший, что «молодой Островский представлял из себя стройного юношу, одетого щеголевато, а по получении первой платы от Погодина за «Свои люди – сочтемся» даже по последней парижской моде». В. З. Головина тоже встретила начинающего драматурга в январе 1849 года: «бледный, высокий, тонкий, с большим лбом и совсем прямыми белокурыми волосами», он держал большой палец в верхней бутоньерке фрака. Однако уже через несколько лет наружность Александра Николаевича разительно меняется, от его былой стройности не

остается и следа, что объясняется напряженной сидячей работой. И М. И. Семевский, познакомившийся с ним в 1855 году, описывает, что это «очень дородный человек… полное месяцеобразное лицо оформляется мягкими русыми волосами, обстриженными в кружок, по-русски, малозаметная лысина… голубые глаза, кои немного щурятся». И одеваться он стал проще, демократичнее. П. П. Гнедич, встретивший Островского в 1862 году в Петербурге в театре, удивленно писал: «… бородатый, в армяке, в высоких глянцоватых сапогах, – он более походил на приказчика из купеческого дома, чем на автора». Дома же он, по словам С. В. Максимова, вообще «ходил в коротенькой поддевочке нараспашку, с открытой грудью, в туфлях, покуривая жуковский табак из черешневого чубука».

В конце 1860-х годов похожую характеристику внешнего вида драматурга дает близко знавший его К. Н. Де-Лазари: «Островский был среднего роста, коренаст. Большая голова, широкий лоб, небольшие, но умные, проницательные, с хитрецою и очень выразительные глаза и широкая, окладистая, рыжая борода. Вообще с виду он более походил на настоящего русского хозяина – купца или промышленника, чем на знаменитого писателя».

А. Н. Островский. Портрет работы артиста А. П. Ленского

Постоянно изменяясь в молодости, Островский лет с сорока пяти и до самой смерти внешне меняется мало. В конце 1870-х годов он «среднего роста, немного полный человек, с большой лысиной, с наклоненной головой, с русой бородкой и добрыми глазами, одетый в бархатный пиджак». Т. Ф. Склифосовская запомнила «фигуру Александра Николаевича, крупную, мужественную, с лысеющей головой, с бледным лицом, обрамленным рыжей бородой, с вдумчивым взглядом голубых глаз, которые он при разговоре иногда подымает вверх и закрывает их».

Островский был фотогеничен, любил фотографироваться и часто дарил свои фотографии знакомым. «Он подал мне, – вспоминал Н. А. Кропачев, – свой фотографический кабинетный

портрет, снятый в рост, работы Дьяговченко, и спросил: похож ли? Я ответил утвердительно. Он сделал на нем свой автограф с датой: 11 мая 1879 года и презентовал мне, чем бесконечно меня обрадовал. По той позе, по тому выражению лица и вообще всей фигуры, каким изображен Александр Николаевич на этом портрете, последний мог бы служить бесподобным образцом для проектируемого памятника».

Лучшее же, наиболее обстоятельное описание наружности Островского последних лет оставил нам литератор Л. Новский: «Александр Николаевич обладал тучным, сырым телосложением… Впрочем, тучность Александра Николаевича не бросалась резко в глаза: она значительно скрадывалась высоким ростом, пропорциональной шириной и плотностью всей фигуры. Александр Николаевич был выше среднего роста, с крупным, осанистым туловищем. И очень широк в плечах, помещавших на полной, довольно высокой шее крупную ширококостную голову с большим выпуклым лбом и пропорционально развитым черепом. Волос, рыжевато-белых, на голове было уже мало, когда я начал его знать; зато не особенно густая, но правильная плоская борода, изжелта-сероватой сединой обрамлявшая лицо драматурга, удивительно симпатично оттеняла черты этого лица выражением мягкого благодушия; небольшие, глубоко впалые глаза глядели в хорошую минуту добродушно-светло и ласково, слегка лукаво; когда же он бывал не в духе или нездоров, эти глаза тускнели и, полузакрытые веками, глубоко уходили в подглазницы; тогда все лицо старчески болезненно сморщивалось, и на тонких губах выступала не то немощная, не то скорбно-старческая складка, с какою он изображен на одном из лучших своих портретов последнего времени» (имеется в виду фотография 1884 г. работы Трусова. – *В. Б.)*. Таким образом, современники прямо указывали, какие именно изображения А. Н. Островского надо использовать при создании ему памятника, и, разумеется, скульптор прислушался к их рекомендациям. К счастью, сохранились и свидетельства, как выглядел и как одевался драматург, когда приезжал в свою усадьбу. «В Щелыкове, – сообщал П. М. Невежин, – он сбрасывал с себя «городское платье» и, облачившись в рубаху и большие сапоги, благодушествовал на лоне природы». К. В. Загорский писал о том же: «В своей усадьбе Александр Николаевич ходил в русском костюме: в рубашке навыпуск, шароварах, длинных сапогах, серой коротенькой поддевке и шляпе с широкими полями». И Н. А. Кропачев, гостивший в Щелыкове уже в 80-е годы, тоже вспоминает, что «в деревне Александр Николаевич зачастую носил русскую рубашку с шароварами и мягкие казанские сапоги».

Памятник А. Н. Островскому в Щелыкове. Скульптор А. П. Тимченко

Такая одежда облегчала сношения драматурга с окрестными крестьянами. Это, в частности, подчеркивала и местная жительница М. И. Иванова в разговоре с корреспондентом В 1936 г.: «В сенокос, вооружившись граблями, Александр Николаевич ходил на луг. В русской рубахе-косоворотке, белой или кумачовой, он был таким простым и доступным каждому что крестьяне не стеснялись обратиться к нему с любым вопросом». В прохладную и пасмурную погоду Островский, выходя на

прогулку, надевал на себя что-нибудь и из верхней одежды. Скульптор увековечил его на памятнике в рубахе в сапогах, не решился лишь покрыть ему голову широкополой шляпой – нам как-то трудно представить в ней Островского.

Монумент прост, непретенциозен. И стоит он так, что хорошо виден из усадьбы, а все, идущие в дом-музей, проходят мимо бронзового Островского. Летом на постаменте памятника всегда лежат букеты цветов – их приносят туристы. А зимой – сосновые веточки.